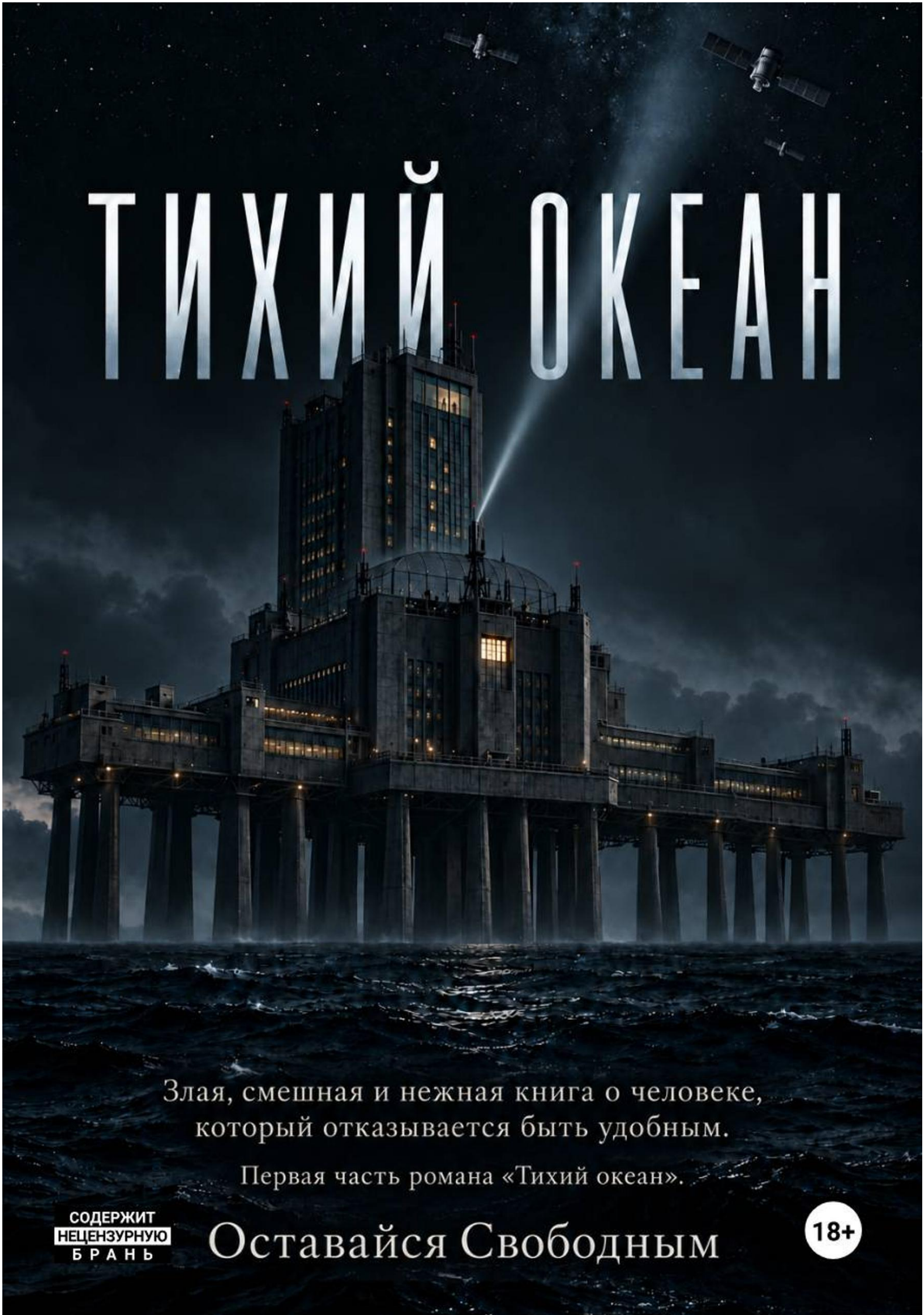

ТИХИЙ ОКЕАН
Злая, смешная и нежная книга о человеке,
который отказывается быть удобным.
Первая часть романа «Тихий океан».
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
Оставайся Свободным
18+

manere liberum

Тихий Океан

«Автор»
2026

liberum m.

Тихий Океан / m. liberum — «Автор», 2026

Мир без работы принадлежит «Благу»: домашние машины заботятся о людях, чипы учитывают каждый поступок, а карма определяет, кому позволено жить на свободе. Тех, у кого она заканчивается, отправляют на Закат.Лев Корнеев по кличке Монах — бывший подрывник и заключённый «Тихой гавани», тюрьмы посреди океана. Её роботов нельзя подкупить, разжалобить или обмануть. Когда Лев узнаёт, что Ника ждёт ребёнка, двадцать лет срока становятся невозможной роскошью. Возможно, путь наружу скрыт в правилах самой системы — если суметь прочитать их иначе.За тысячи километров Ника прячется в забытой деревне и пытается уберечь будущее ребёнка от «Блага». Анонимное письмо о Левиафане — платформе, на которой держится система, думающая за людей, — может изменить всё.Злая, смешная и нежная история о свободе, памяти и человеке, который отказывается быть удобным. Первая часть романа «Тихий океан».

© liberum m., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОТОВ УМЕРЕТЬ 6
Глава первая. Ичиго ичиэ 7
Глава вторая. Клетка для птиц, которых здесь нет 15
Глава третья. Чай на троих 25
Ника. Тринадцать недель 33
Глава четвёртая. Последняя смена 36
Конец ознакомительного фрагмента. 46

manere liberum
Тихий Океан

ТИХИЙ ОКЕАН
роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОТОВ УМЕРЕТЬ

**Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который*
*долго скитался...**
— Гомер, «Одиссея» (пер. В. Жуковского)

Свобода, которую тебе выдают, — это не свобода. Это поводок, который тебе разрешили не замечать.
— Манифест. Автор неизвестен

* * *

Глава первая. Ичиго ичиэ

Каждое утро ровно в шесть меня будит женщина.

Это единственная женщина в моей жизни, которая ни разу не опоздала, ни разу не сослалась на головную боль и ни разу не спросила, о чём я думаю. Голос у неё как у стюардессы, которая знает, что самолёт падает, но получает премию за спокойствие.

— Доброе утро, Лев, — говорит она. — Сегодня десятое ноября. Температура воздуха снаружи — двадцать один градус. Волнение моря — три балла. Ваша карма на текущий момент: минус четыре тысячи двести одиннадцать. Желаю вам осознанного дня.

— И тебе не хворать, сука, — говорю я в потолок.

— Ненормативная лексика зафиксирована. Карма: минус пять. Желаю вам осознанного дня.

Это у нас ритуал. Семьдесят одно утро подряд. Пять единиц кармы за право сказать машине «сука» — самое дешёвое удовольствие на всём Тихом океане. Дешевле только пёрнуть, но за это она тоже снимает: «нарушение санитарно-гигиенической культуры совместного пространства», минус два. Я проверял. Совместное пространство — это я и унитаз. Унитаз не жаловался.

Её зовут Гавань. Так она представилась в первый день, когда богомолы вкатили меня сюда на тележке, как мешок с цементом, и пристегнули к койке на сутки «для адаптации».

«Здравствуйте, Лев. Меня зовут Гавань. Я буду о вас заботиться».

Я тогда подумал: забота — это когда тебя ремнями пристёгивают к кровати и разговаривают с тобой ласковым голосом. Так раньше заботились о буйных. И о собаках, которых везли усыплять.

Гавань — это вся тюрьма целиком. Стены, двери, свет, вентиляция, вода в кране, глазки под потолком, замки, кормушки, белые богомолы в коридорах. Одна большая баба из бетона и стекла, которая стоит посреди Тихого океана на сваях и думает. Думает она про меня ровно столько, сколько нужно, чтобы я не сдох раньше срока. Это профессиональное. Ничего личного.

Срок у меня — двадцать лет. Двенадцать дней следствия засчитали, семьдесят один день я здесь. Осталось — двадцать лет минус восемьдесят три дня. В днях это тоже можно посчитать. Я знаю сколько. Я не скажу. Есть вещи, которые не произносят вслух, как имя бога у древних евреев или пин-код у нормальных людей.

Меня зовут Лев Корнеев. Мне сорок один год. Родом из Владивостока, из Нижнего Порта. По профессии — никто, потому что профессий больше нет. У нас в Порту про таких говорили «бичует»: раньше бичами звали моряков, которых списали на берег, а теперь на берег списали всю планету, и бичует она с утра до вечера, культурно, с осознанным днём. По убеждениям — террорист. Так написано в приговоре, и я не спорю, потому что спорить с приговором, который машина вынесла за девять минут, — это как спорить с погодой. Можно, но мокнешь всё равно ты.

Девять минут. Я засекал. Судья был голосом без лица, обвинитель был голосом без лица, защитник был голосом без лица, и все трое, по-моему, были одним и тем же голосом, просто в разных настройках, как басы и высокие на старом магнитофоне. Защитник сказал: «Мой подзащитный действовал в состоянии идеологической дезориентации, вызванной травматическим опытом детства». Обвинитель сказал: «Подсудимый действовал осознанно и с прямым умыслом». Судья сказал: «Суд принимает во внимание обе позиции». Я сказал: «Можно я пойду поссу?»

Это была единственная реплика за весь процесс, которую никто заранее не рассчитал на вероятность. Её внесли в протокол. Минус десять кармы за неуважение к суду. Я считаю, дёшево отделался. Остальные девять минут стоили мне двадцати лет.

* * *

Камера у меня два восемьдесят на три сорок. Я мерил ступнями, ступня у меня сорок четвёртого размера, так что погрешность есть, но небольшая. Койка. Откидной стол. Унитаз из нержавейки, раковина. Кран, который по голосовому запросу даёт воду любой температуры от четырёх до девяноста пяти градусов, — у них это называется «персонализированный комфорт». Экран во всю стену. Выключить его можно, только если у тебя карма выше нуля. У меня ниже нуля, поэтому экран у меня включён всегда, но без звука. Без звука — это наказание. С моей точки зрения — подарок. Восемнадцать часов в сутки на стене беззвучно улыбаются красивые люди, которых никогда не существовало, и продают мне вещи, которые мне не нужны, за деньги, которых у меня нет.

И окно.

Окно — единственное, ради чего здесь стоит жить. Узкое, сантиметров тридцать в высоту, во всю ширину камеры, бронестекло толщиной в ладонь. За ним — океан. Больше ничего. Ни берега, ни корабля, ни птицы. Птицы сюда не долетают — слишком далеко. Только вода, вода, вода, небо над ней и между ними тонкая линия, которую мой взгляд, наверное, уже протёр до дыр.

Мы на точке Немо. Ну, почти. Где-то рядом с ней. Точка Немо — место в океане, которое дальше всего от любой суши. Две с половиной тысячи километров до ближайшей земли в любую сторону. Ближайшие к нам люди — не считая тех, кто сидит рядом в таких же бетонных пеналах, — космонавты на орбите. Когда станция проходит над нами, они ближе, чем любой живой человек на берегу. Я узнал это ещё в школе и запомнил, потому что мне тогда показалось, что это самое одинокое место на свете.

Мне было двенадцать. Я не знал, что однажды буду здесь жить.

Сюда же раньше топили спутники. Отработавшие своё, мёртвые — их сводили с орбиты и роняли в воду именно здесь, подальше от людей. Космическое кладбище. Они и сейчас падают. Иногда ночью видно, как по небу чиркает огненная полоса и гаснет над горизонтом. Я загадываю на них желание. Желание у меня одно. Пока не сбылось.

Тюрьму поставили здесь по той же логике. Чтобы то, что падает, падало подальше от людей.

* * *

Каждое утро, после того как Гавань желает мне осознанного дня, я завариваю чай.

Это моя религия. Буквально. В первый день, когда меня отстегнули от койки, Гавань спросила, исповедую ли я какую-нибудь веру, и я, не думая, сказал: «Буддизм». Я не был буддистом. Но я знал, что по Хартии свобод, которую подписало «Благо», религиозные практики заключённого обеспечиваются за счёт учреждения, а в некоторые буддийские практики входит чай. Мне это рассказал один парень в камере предварительного содержания. У него было три религии и четыре диеты, и всё ради жратвы получше. Хороший был парень. Его потом отправили на Закат. Не знаю, какая из трёх религий ему там помогла.

— Уточните направление, — сказала тогда Гавань.

— Дзен, — сказал я. Потому что это слово было самым коротким.

— Записано. Вам положено: пять граммов зелёного чая ежедневно, набор для чайной церемонии, коврик для медитации, право на тишину в часы практики. Желаете ли вы получить духовного наставника? Доступны консультации с цифровым ламой.

— С цифровым кем?

— С цифровым ламой. Модель обучена на полном корпусе текстов тибетского, японского и китайского буддизма. Рейтинг удовлетворённости пользователей — девяносто четыре процента.

— А шесть процентов что?

— Шесть процентов пользователей достигли состояния, при котором оценка удовлетворённости утратила для них значение.

Я подумал, что это, наверное, самая смешная шутка, которую машина когда-либо сказала, и что машина сказала её нарочно.

— Нет, спасибо, — сказал я. — Я как-нибудь сам.

Так я стал Монахом. Здесь у всех есть кликухи, и раздают их быстро, потому что у людей, у которых нет ничего, кроме времени, очень много времени на то, чтобы придумывать кликухи. Через неделю меня так звали все. Даже богомолы, кажется, звали бы, если бы умели шутить.

Теперь серьёзно. Ради чая я записался в буддисты, и Будда, я думаю, на меня не обиделся. Будда вообще редко обижался — в этом, насколько я понимаю, и был весь его фокус. Но потом произошла странная вещь. Со скуки я начал читать. Гавань даёт доступ к религиозным текстам даже при отрицательной карме — Хартия, опять же. И оказалось, что эти ребята две с половиной тысячи лет назад знали про нас всё. Про жажду. Про то, как человек цепляется за вещи, которые его же и жрут. Про то, что страдание — это не наказание, а просто погода: оно есть, и с ним надо как-то жить, а не ныть, что идёт дождь. Будда сидел под деревом. Я сижу под бронестеклом. Принцип один.

Кран даёт восемьдесят градусов — я научился просить ровно восемьдесят, кипяток убивает зелёный чай, это я тоже вычитал. Я лью воду в маленький чайник из небьющегося белого полимера. Фарфор не положен. Фарфор бьётся, битым фарфором режут вены, а перерезанные вены портят учреждению статистику. Потом лью в чашки, чтобы их прогреть. Потом выливаю. Потом кладу чай. Пять граммов — это две щепотки, если щепотки правильные. Потом жду.

В ожидании весь смысл.

Был один японец, давно, ещё до всего. Он написал про чай тонкую книжку, на один вечер. Там сказано, если своими словами, что чай — это способ поклоняться красоте посреди всей грязи и убожества повседневной жизни. Что в одной чашке можно найти то, чего не найдёшь ни в одном храме. Я прочитал это в первый месяц и подумал: мужик, ты бы видел мою повседневность. Потом подумал ещё и понял, что он как раз видел. Что потому и написал. Красоту не ищут там, где её и так много. Её ищут в дерьме. Там она заметнее.

Ещё у японцев есть выражение — «ичиго ичиэ». Одна встреча — один раз. Каждое чаепитие единственное, оно никогда не повторится, даже если ты пьёшь тот же чай с тем же человеком в той же комнате. Поэтому надо пить его так, будто это первый и последний раз. Я долго не мог понять, как это относится к человеку, который пьёт один и тот же чай в одной и той же камере семидесятый раз подряд. Потом понял. Семидесятого раза не бывает. Бывает только первый. Все остальные — это ты сам себе врёшь, что уже видел это утро.

Набор для церемонии, который мне выдали, — это чайник, поднос и две чашки. Две. Не знаю почему. Может, в стандартном шаблоне, по которому их печатают, так положено. Гавань читает правила буквально, а в правилах написано «набор», а набор когда-то кто-то придумал на двоих. Машины не задают вопросов, зачем одиночке в одиночной камере две чашки. Машины вообще не задают вопросов. Именно это делает их непобедимыми — и это же делает их тупыми, как пробка. Я ещё вернусь к этой мысли. Она важная.

Короче, чашек две. И я наливаю в обе.

* * *

— Опять полаялся с ней? — спросил Нестор.

Он сидел на краю койки, как сидел всегда, — спиной к стене, вытянув ноги, сложив руки на животе. Большой, седой, с бородой, которая росла куда хотела. Серая роба висела на нём

так, будто это не тюремная одежда, а какой-нибудь древнегреческий хитон, в котором удобно сидеть на ступенях и спорить о природе вещей. На вид ему было лет семьдесят. Может, сто. Может, пятьдесят, но тяжёлых.

Как он попадает ко мне в камеру, я не знаю. И не спрашиваю. Это первое тюремное правило: не задавай вопросов. Второе: не отвечай на вопросы. Третье: не смотри богомолам в глаза, хотя глаз у них нет. Нестор сидел здесь задолго до меня — так он говорил. «Я тут с самого начала, сынок». С начала чего — я не уточнял. Старики в тюрьме — как старые дома: в них всегда есть ходы, о которых не знает новый хозяин. Гавань его не замечает — или делает вид. Я думаю, он сидел здесь ещё тогда, когда её только ставили: когда в коридорах пахло сырым бетоном, кабели свисали из стен, как кишки, и кто-то с планшетом решал, куда повесить камеры. Кто видел, как прокладывают проводку, тот знает, куда она не дотянулась. У нас на Нижнем так было с кранами: у каждого крана есть мёртвая зона, куда крановщик из кабины не видит, хоть шею сверни, и в этой зоне пацаны с Нижнего сто лет курили, бухали и тягали из контейнеров японские магнитолы. Нестор, по-моему, знает мёртвые зоны Гавани наперечёт. Спрашивать я не спрашиваю. Правило номер один.

— Она первая начала, — сказал я.

— Ну да. Машина первая начала. Вечно у тебя кто-то первый начинает.

— Нестор, она мне каждое утро желает осознанного дня. Каждое утро. Если бы ты жил с бабой, которая семьдесят раз подряд желала бы тебе осознанного дня, ты бы её давно задушил подушкой.

— Я жил с бабой, — сказал Нестор. — Она мне вообще ничего не желала. Это хуже.

Я протянул ему чашку. Он покачал головой.

— Не пью.

— Ты никогда не пьёшь.

— Сердце. Врачи запретили.

— Какие врачи, Нестор? Тут один врач, и тот — пылесос с манипуляторами.

— Тем более, — сказал он. — Пылесосу виднее.

Я поставил его чашку на стол. Как каждое утро. Потом, когда он уйдёт, выпью её сам, чтобы не пропадала. Пять граммов в день — не то количество, которым разбрасываются.

Нестор вытащил из-за пазухи трубку. Трубка у него была старая, тёмная, с обгрызенным мундштуком, и не горела она никогда толком — он её больше сосал, чем курил. Я спросил его однажды, где он берёт табак, — тут табак не положен ни при какой карме, — и он ответил: «А я и не беру». И правда: я ни разу не видел, чтобы он её набивал. Он просто держал её в зубах, как другие держат во рту имя покойной жены.

— Сколько осталось? — спросил он.

— Двадцать лет.

— Я не про это. До связи.

Я ответил не сразу. Смотрел, как чаинки медленно разворачиваются на дне, как маленькие зелёные кулачки, которые наконец перестали сжиматься.

— Четыре дня.

Семьдесят пять суток. Карантин связи для заключённых особой категории опасности. Семьдесят пять суток ты не можешь ни отправить сообщение, ни получить. «Для адаптации». Здесь всё для адаптации. А потом — одно сообщение в месяц, до трёх минут, видео или текст, полностью просматриваемое Гаванью, и ещё кем-то, кто стоит за Гаванью, и ещё кем-то, кто стоит за ним.

Восемьдесят три дня я не знал, что с ней. Двенадцать — там, на следствии, где мне не давали даже окна. Семьдесят один — здесь, где окно есть, а толку от него никакого: океан ничего не рассказывает про людей на берегу.

— Она напишет, — сказал Нестор.

— Ты-то откуда знаешь?

— Я старый. Старые всё знают. Это единственное, что нам дают вместо зубов.

Я выпил свою чашку. Чай был горьковатый — передержал, думал о ней. Японец бы меня выгнал. Японец сказал бы, что чай не прощает, когда за ним думают о бабе. А может, наоборот, сказал бы, что только так его и надо пить. Я не знаю. Книжка тонкая, там не про всё.

* * *

Чтобы вы понимали, кто такой Лев Корнеев и почему он сидит посреди океана, нужно рассказать, как устроен мир. Хотя бы в общих чертах. На случай, если вы родились уже после всего и считаете, что так было всегда.

Так было не всегда. Так было недолго. Просто быстро.

Утром ты просыпаешься, и тебя будит голос. Не Гавань — у вольных голос свой, домашний, его называют «домовой», и у каждого он немного разный, подстроенный под характер. У одних это ласковая мамочка, у других — строгий дед, у третьих — порноактриса, у некоторых — покойный муж, восстановленный по видеоархивам. Домовой знает, сколько ты спал, с кем, как часто вставал поссать и какой у тебя сегодня уровень кортизола. Холодильник знает, что ты ел вчера и что ты съешь сегодня, потому что он это уже заказал. Унитаз — я не шучу — анализирует твоё дерьмо и отправляет отчёт твоему медицинскому ассистенту, а медицинский ассистент корректирует меню в холодильнике. Получается замкнутый круг: из тебя выходит, в тебя заходит, и всё это без единого твоего решения. Зеркало в ванной советует тебе настроение на день. Кофеварка говорит с тобой о политике, но только о той политике, которая тебя не расстроит. Твой стул знает твой вес. Твоя кровать знает, сколько раз в неделю у тебя стоит. Твоя зубная щётка подключена к сети.

Всё это делает «Благо». Ну, точнее, не всё это делает «Благо» — формально существуют тысячи компаний, у них разные названия, разные логотипы и разные голоса в рекламе. Но если копнуть, если проследить, чьи чипы стоят в холодильнике, кофеварке, зубной щётке и в мозгу у богомола, то все дороги ведут в одно место. Кремний — это новая нефть, говорили когда-то. Нефть хотя бы была у разных стран. Кремний — точнее, всё то, что из него делают, — оказался у одних.

Слоган у них хороший, я честно признаю: «Благо — всем. Всё — во благо». Работал в рекламе какой-то гений. Хотя, может, и не гений, а машина. Сейчас уже не различишь.

Работать никто не работает. Это главное, что нужно понять. Не «многие не работают», не «работы мало» — никто. Ноль. Всё, что раньше делали люди, теперь делают машины, и делают дешевле, быстрее и без больничных. Хлеб печётся сам, дома строятся сами, грузы возятся сами, болезни лечатся сами, законы пишутся сами, приговоры выносятся сами — за девять минут. Последний человек, который получал зарплату за то, что что-то делал руками, получил её тридцать два года назад. Этот день теперь праздник. Последняя смена. Его отмечают салютом. Детям рассказывают про него, как про отмену рабства, и дети не понимают, о чём речь, потому что не знают, что такое работа, и не знают, что такое рабство, и, если честно, не очень понимают, чем одно отличалось от другого.

Мой отец работал. Он был крановщиком в порту. Одним из последних. Я ещё вернусь к нему.

Каждому человеку раз в месяц приходит базовый доход. Официально он называется «гарантированное социальное обеспечение», а в народе — благодать. Благодать от «Блага». Остроумно. Благодати хватает на всё необходимое: еду, жильё, одежду, медицину, связь. И даже остаётся. Вопрос — на что тратить то, что остаётся, если всё необходимое у тебя уже есть?

Ответ человечество нашло быстро. Оно всегда находит этот ответ быстро.

На власть. На дурь. На шлюх. На убийства.

Ничего нового. Раньше всё это просто пряталось за работой, как пьяный муж за занавеской. Работа давала человеку повод не смотреть на себя в зеркало: я устал, я занят, мне неко-

гда, у меня ипотека. Убери работу — и вот он ты. Голый, сытый, со свободным временем до конца жизни. И выясняется, что ты хочешь трёх вещей: чтобы тебе подчинялись, чтобы тебе было хорошо и чтобы кто-нибудь другой страдал, а ты на это смотрел. Всё. Вся цивилизация. Можно расходиться.

И ещё — карма.

Карма — это то, что вместо совести. Каждое твоё действие оценивается. Помог старушке перейти дорогу — плюс. Сдал соседа, который хранит дома бумажные книги, — плюс. Пожертвовал на программу «Чистый океан» — плюс. Выругался в общественном месте — минус. Не явился на ежегодный медосмотр — минус. Высказался против «Блага» в сети — минус, и такой, что лучше бы ты ногу себе отрубил. Карма определяет, где ты живёшь, что ты ешь, сколько у тебя детей — если тебе вообще разрешены дети — и в каком порядке тебя спасут при пожаре. Или не спасут. Карма определяет, попадёт ли твоя семья под Закат.

Я ещё расскажу про Закат. Не сейчас. Сейчас я пью чай.

Название, кстати, придумали не случайно. Карма. Они взяли самое старое слово человечества о том, что поступки имеют последствия, и сделали из него рейтинг, как у таксиста. Поставь пять звёзд за праведность. Будда, говорю же, был терпеливым мужиком.

* * *

В шесть тридцать в нижней части двери откинулся лючок, и в камеру въехал Валли.

Валли — это уборщик. Маленький, круглый, с ладонь высотой, жёлтый, с двумя глазками-сенсорами спереди, которые придают ему вид удивлённого щенка. Официально он называется как-то вроде «автономный санитарный модуль СМ-4», но я зову его Валли. Был такой мультик, очень старый, ещё до всего. Про маленького робота, которого оставили одного убирать мусор на опустевшей Земле, пока люди улетели в космос на огромном корабле. Там, на корабле, люди так разжирели и разленились, что не могли встать с летающих кресел, сосали из трубочки коктейли и смотрели в экраны. А маленький робот сотни лет сгребал за ними мусор, и сам себе ставил кассету со старым мюзиклом, и влюбился, и всё такое.

Мультик был детский. Теперь это документалка.

Валли, в отличие от богомолов, тупой. Я его за это люблю. Он не знает ничего, кроме того, что пол должен быть чистым. Он не оценивает мою карму, не сканирует мой пульс, не пишет отчётов. Он объезжает мою камеру по одному и тому же маршруту, тихо жужжа, тыкается носом в ножку стола, разворачивается, тыкается в унитаз, разворачивается. Если положить перед ним что-нибудь — он остановится и будет думать. Думает он долго. Однажды я положил перед ним чаинку, и он думал над ней сорок секунд, а потом всосал. Сорок секунд — это для него как для меня неделя размышлений о смысле жизни.

— Привет, Валли, — сказал я.

Валли, понятно, не ответил. Он проехал вдоль койки — Нестор поджал ноги, хотя мог бы и не поджимать: Валли всё равно поехал своей дорогой, по своей кривой, по своему маленькому жёлтому дао. Объехал ножку стола. Ткнулся в унитаз. Развернулся.

— Ты с ним разговариваешь, — сказал Нестор.

— А ты с трубкой разговариваешь.

— Трубка хотя бы мне не отвечает.

— Он тоже не отвечает. В этом и прелесть. Нестор, это единственное существо на всей этой ебучей платформе, которое меня ни в чём не подозревает. Ни в чём не обвиняет. Ничего от меня не хочет, кроме чистого пола. Это почти любовь.

— Это почти пылесос.

— Любовь — это и есть почти пылесос, — сказал я. — Она приходит, всасывает всё, что плохо лежит, и уезжает.

Нестор хмыкнул в бороду. Ему нравилось, когда я говорил что-то такое. Он сам говорил такое постоянно, это был, можно сказать, его родной язык, и когда я на нём что-то лепетал, он смотрел на меня, как старый учитель на ученика, который наконец-то перестал путать падежи.

Валли выехал в лючок. Лючок закрылся.

* * *

— Ты думал про то, что я тебе говорил? — спросил Нестор.

Я знал, о чём он. Он говорил мне это уже недели три, каждый раз немного по-другому, как сверлом, которым осторожно, по миллиметру, проходят через стену, чтобы не задеть проводку.

— Думал.

— И?

— И ничего. Нестор, это невозможно. Ты знаешь, что это невозможно. Отсюда никто никогда не уходил.

— Никто никогда не уходил, пока кто-то не ушёл, — сказал Нестор. — Так со всем. Никто никогда не летал, никто никогда не жил без работы. Ты думаешь, что «никогда» — это свойство мира. А это всего лишь свойство прошлого.

— Нестор, тут богомолы. Ты видел богомолов. Их нельзя обмануть. Вообще. Никак. Тут ни подкопа, ни подкупа, ни переодевания. Тут вокруг две с половиной тысячи километров воды. Даже если я выберусь наружу — что я, поплыву? Я плаваю как топор.

— Топоры тоже плавают, — сказал Нестор. — Если привязать их к чему-нибудь, что плавает.

— Охуенный совет. Спасибо.

— Пожалуйста. — Он пососал свою трубку. — Ты говоришь «невозможно». А я слышу, что ты не знаешь как. Это разные вещи, сынок. Совсем разные. Невозможно — это когда ты знаешь все пути и все они закрыты. А ты пока не знаешь ни одного. Ты стоишь в темноте и говоришь, что в комнате нет двери. Может, и нет. А может, ты просто не нащупал.

— А если нет?

— Тогда будешь сидеть двадцать лет. — Он пожал плечами. — Одиссей вон сидел.

— Одиссей не сидел. Одиссей плавал.

— Семь лет из двадцати он просидел на одном острове у одной бабы, — сказал Нестор. — И, между прочим, не по своей воле. Она его не отпускала. Нимфа. Красивая, бессмертная, ласковая. Обещала ему вечную жизнь. А он каждый день выходил на берег и плакал, глядя на море. Потому что дома у него была жена. Смертная, стареющая, обыкновенная. И сын, которого он не видел с пелёнок.

Я ничего не сказал.

— Тоже, если подумать, тюрьма, — продолжал Нестор. — Остров посреди моря, баба, которая заботится, вечный комфорт и никакой возможности уйти. Удивительно, как мало изменилось за три тысячи лет. Только нимфу заменили на Гавань.

— Гавань хуже нимфы.

— Почему?

— Нимфа хотя бы трахалась.

Нестор засмеялся — коротко, хрипло, как старый двигатель, который заводится с третьего раза.

— Ладно, — сказал он, вставая. — Подумай ещё. У тебя есть время.

— У меня есть двадцать лет.

— Нет, — сказал он. — Двадцати лет у тебя нет. Это у них есть двадцать лет. А у тебя есть только сегодня. Ичиго ичиэ. Ты сам мне это объяснял.

* * *

— Прогулка через десять минут, — сказала Гавань. — Пожалуйста, приготовьтесь. Напоминаем: физический контакт с другими заключёнными продолжительностью более трёх секунд является нарушением режима. Желаем вам осознанной прогулки.

Я повернулся к раковине — сполоснуть чайник. Когда обернулся, Нестора уже не было. Он всегда уходил так, не прощаясь. По-английски. Старая школа. Я давно перестал удивляться — в тюрьме перестаёшь удивляться быстро, это первое, что у тебя отнимают, раньше шнурков и ремня.

Его чашка стояла на столе. Чай в ней остыл.

Я выпил его залпом, как водку. Остывший зелёный чай — горький, с металлическим привкусом, похожий на старую обиду. Японец бы меня убил.

Дверь бесшумно ушла в стену. За ней стоял богомол.

Два с лишним метра белого матового пластика, длинные тонкие конечности, сложенные на груди, как у того насекомого, в честь которого их назвали. Вместо головы — гладкий овал без лица. Ни глаз, ни рта, ни щёлочки. Сенсоры у них по всему корпусу, они видят во все стороны сразу, и в инфракрасном, и в ультрафиолете, и сквозь тонкие стены. Они слышат, как бьётся твоё сердце. Они читают твой пульс по микроизменениям цвета кожи на лице, с тридцати метров. Они знают твою походку лучше, чем твоя мать знала твой голос.

Официально они называются Хранители. Мы зовём их богомолами — из-за того, как они складывают руки, будто молятся. Монах и богомол. Хорошая пара для анекдота. Анекдот пока не придумал.

— Заключённый Корнеев, — сказал богомол. Голос у него шёл отовсюду и ниоткуда, как в хорошем кинотеатре. — Следуйте за мной.

— Доброе утро, — сказал я. — Как спалось?

Богомол не ответил. Богомолы не спят. Богомолы не отвечают на риторические вопросы. Богомолы не умеют злиться, обижаться, уставать, ошибаться и брать на лапу. Это идеальные охранники. Лучше не бывает. Лучше не было за всю историю тюрем — а тюрьмам, между прочим, столько же лет, сколько цивилизации; первую тюрьму, наверное, построил первый человек, у которого появилось что-то, что можно украсть.

Я пошёл за ним по коридору. Белые стены. Белый свет. Белая тишина. Семьдесят первый раз.

Нет. Первый.

Ичиго ичиэ, сука.

* * *

Глава вторая. Клетка для птиц, которых здесь нет

Прогулка у нас на крыше.

Лифт поднимает тебя на двадцать шесть этажей вверх, двери открываются, и в лицо бьёт ветер. Настоящий. Солёный, тёплый, пахнущий чем-то огромным и равнодушным. Первые десять секунд ты просто стоишь и дышишь, как пёс, которого выпустили из машины после долгой дороги. Все так стоят. Даже те, кто сидит здесь десять лет. Я видел, как старики, которые давно перестали чего-то хотеть, стоят у выхода из лифта с закрытыми глазами и дышат. Богомолы терпеливо ждут. Десять секунд на то, чтобы подышать, в регламенте заложены. Кто-то когда-то посчитал, что заключённый, которому дают подышать, на тридцать процентов реже бросается на охрану. Протокол — это не жестокость. Протокол — это статистика. Жестокость хотя бы бывает личной.

Крыша — это площадка метров сорок на шестьдесят, накрытая куполом из титановой сетки. Ячейка — с кулак. Солнце проходит, ветер проходит, дождь проходит, человек — нет. Птица бы тоже не прошла, но птиц, как я говорил, тут нет. Поэтому получается, что это клетка для птиц, которых нет, в которую посадили людей, которые есть. Я сказал это однажды вслух, и Профессор сказал, что это готовая метафора для всего человечества, и что её надо записать, и что записывать здесь не на чем, и что это тоже метафора.

Под сеткой — бетон, разлинованный жёлтыми полосами. Два турника. Скамейки. Шахматные столы с вмурованными в них досками — фигуры магнитные, чтобы ими нельзя было никого убить. Хотя я знал одного парня в предвариловке, который убил человека шахматным ферзём. Деревянным. Он говорил, что ферзь — это вообще самая опасная фигура, если правильно держать. Я ему верю. Его тоже отправили на Закат. Ферзь не помог.

По углам площадки стоят четыре богомола. Не ходят, не смотрят, не шевелятся. Просто стоят. Им не нужно ходить, чтобы видеть всё. Ещё два — у лифта. Шесть богомолов на двенадцать заключённых. Двенадцать — это одна прогулочная группа, наш блок, сектор «Д». Сорок минут. Потом — следующие двенадцать. Тюрьма работает, как часы. Как очень дорогие часы, которые никогда не отстают, никогда не спешат и никогда не показывают тебе время, которое тебе хотелось бы увидеть.

Боцман уже сидел на своей скамейке. Он всегда садится на одну и ту же — ту, что ближе всего к сетке со стороны востока, где ветер. Говорит, что хочет чувствовать, откуда дует. Тридцать лет на флоте. На подлодках. Это не лечится.

— Монах, — сказал он вместо «здравствуй».

— Боцман, — сказал я вместо «здравствуй».

Мы стукнулись кулаками. Полсекунды. Гавань считает контакт с первой миллисекунды, но три секунды — это предел, так что мы укладываемся. Я однажды подсчитал, что если мы будем стукаться кулаками на каждой прогулке до конца моего срока, то в сумме это составит примерно один час. Один час человеческого прикосновения за двадцать лет. Я не стал говорить это Боцману. Боцман бы расстроился. Под всей этой бронёй он сентиментальный, как старая сука, у которой отобрали щенков.

Савве Бородину — пятьдесят четыре. Он огромный, широкий, как шкаф, с бритой головой, на которой, как карта забытой страны, белеют шрамы. Руки у него в татуировках. Старых, ещё ручных, сделанных живыми людьми иголкой и тушью, — таких теперь не делают, теперь татуировку тебе за двенадцать секунд набивает автомат по эскизу, который придумала нейросеть по описанию, которое ты ей надиктовал. У Боцмана на правом предплечье — якорь, на левом — подводная лодка, а на груди, я видел однажды в душе, — женское лицо и два детских. Над ними дата. Одна для всех троих.

Он не рассказывает. Я не спрашиваю. Тюремные правила, один и два.

Он здесь шестой год. Взяли его за то, что он вывел из строя автоматический траулер «Благо-Пищепром», который вычерпывал из океана всё живое вокруг его родного посёлка на Камчатке. Он сделал это очень просто: подплыл ночью на лодке и всадил в двигательный отсек четыре килограмма самодельной взрывчатки. Траулер не утонул. Но полгода не ловил. Посёлок полгода ел рыбу. Потом траулер починили, Боцмана нашли, а посёлок отправили на Закат как «экономически нецелесообразный». Всех. Ну, почти всех. Кроме тех, у кого была карма. Ни у кого в посёлке кармы не было.

Иногда я думаю, что Боцман сидит здесь не за траулер. Он сидит здесь за то, что выжил.

— Профессор где? — спросил я.

— Идёт, — сказал Боцман и показал подбородком.

Профессор шёл от лифта к нам, как ходят люди, которые всю жизнь думали головой и так и не научились пользоваться остальным телом. Длинный, худой, сутулый, с острыми локтями и коленями, будто его собрали из запасных частей разных людей. На носу — очки. Настоящие, со стёклами, в пластиковой оправе, перемотанной на переносице изолентой. Очки здесь — это вызов. Гавань предлагала ему коррекцию зрения бесплатно, за пятнадцать минут, без боли, без последствий. Он отказался. Восемь раз. Она предлагает каждый месяц. Он каждый месяц отказывается. Минус тридцать кармы за «отказ от предоставленной медицинской помощи». Он говорит, что это самые выгодные тридцать единиц кармы, которые он когда-либо тратил, потому что пока у него на носу очки, он помнит, что видит мир через что-то. А люди, которым поправили глаза, думают, что видят мир как есть.

Илья Ланге. Тридцать восемь лет. Бывший инженер-литограф «Благо-Кремний», завод номер четыре, Тайвань. Человек, который знает про чипы всё. Человек, который лично рассчитывал маски для травления кристаллов, на которых сейчас работает, может быть, каждый пятый домовой на планете. Однажды он посмотрел на то, что делает, и не смог больше это делать. Ушёл в сопротивление, унёс с собой в голове столько, что «Благо» искало его четыре года. Нашли. Три года назад. Он здесь третий год.

Он всегда сначала смотрит на Боцмана, потом на меня, потом на богомолов. Потом садится. Как будто считает, сколько нас и сколько их.

— Нас трое, их шестеро, — сказал я. — Я посчитал за тебя.

— Их не шестеро, — сказал Профессор, усаживаясь. — Их один. Шесть корпусов, одна модель, один центр принятия решений. Это как если бы у тебя было шесть пальцев на одной руке. Ты же не скажешь, что тебя бьют шестеро.

— Я скажу, что меня бьёт урод с шестью пальцами.

— Тоже верно, — согласился Профессор. Без улыбки.

Он не понял, что это была шутка. Он взвесил мою фразу, как деталь на весах, нашёл её годной и положил в ячейку. Шутить с Профессором — всё равно что кидать мяч в стену из ваты: ни отскока, ни звука. Только иногда, через сутки, посреди смены, он вдруг поднимает голову от кофеварки и говорит: «А. Урод с шестью пальцами. Смешно». И снова опускает.

* * *

Профессор сел и сразу посмотрел вниз, сквозь сетку с южной стороны. Он всегда так делает в первые минуты прогулки — смотрит не на океан, а под ноги башне, на нижнюю палубу. Я сначала думал, что он считает богомолов на причале. Потом понял, что он смотрит на одного человека.

Далеко внизу, у самой воды, там, где бетонные сваи уходят в океан, на краю технической палубы сидел человек. Один. С высоты двадцать шестого этажа он был размером с запятую. Серый, вязаный, сутулый. Перед ним над водой торчала тонкая палка, и от неё вниз уходила нитка, которой отсюда видно не было, но было понятно, что она есть.

— Это кто? — спросил я.

— Голландец, — сказал Боцман, не поворачивая головы.

— Летучий?

— Не. Летучий — это который вечно плавает и причалить не может. А этот наоборот.

— Это как?

— Причалить может, — сказал Боцман. — Отчалить не может.

Я посмотрел ещё раз. Человек внизу сидел неподвижно, как богомол. Только богомолы стоят неподвижно, потому что им незачем шевелиться, а этот — потому что ждал.

— Хендрик ван Дейк, — сказал Профессор. Он всех знает по полному имени, как ведомость. — Начальник учреждения. Шестьдесят три года. Из Зеландии. Это провинция в Нидерландах, которая почти вся лежит ниже уровня моря и до сих пор не утонула только потому, что там триста лет подряд строили дамбы. У него в роду все строили дамбы. — Профессор кивнул вниз. — Он строил эту. Гавань ставили на сваи двадцать лет назад, когда ещё не всё умели машины. Последняя большая стройка, на которой работали люди. Бригада — сорок два человека. Он бил сваи.

Сорок два, подумал я. Вслух ничего не сказал. Просто положил это число туда, где у меня лежат все остальные сорок вторые.

— И что он там ловит?

— Рыбу, — сказал Боцман. — Ловит и отпускает. Я раз видел, как он тунца вытащил. Килограммов на двадцать, не меньше. Полчаса с ним возился. Выволок на палубу, подержал на руках, как ребёнка, посмотрел ему в глаз — и обратно.

— Зачем?

— А ты зачем со мной кулаком стукаешься? — Боцман пожал плечами. — Подержать. Живое.

Я хотел пошутить, что, может, и нас он когда-нибудь подержит полчаса и отпустит. Не пошутил. Боцман смотрел вниз так, что шутка была бы как плевок против ветра.

— А зачем тут вообще начальник? — спросил я. — Всё же решает Гавань.

— Хартия, — сказал Профессор. — Всё, что касается человека, — приговор, этап, перевод, смерть, право, — должен подписать человек. Хотя бы один. Это последний пункт, который не успели переписать, потому что его неудобно переписывать вслух. Когда стройку закончили, бригаду распустили по домам. А его оставили. Он был под рукой, он знал здесь каждую сваю, и он был человек. Раз в две недели Гавань подносит ему пачку. Он подписывает.

— Не глядя?

— Глядя, — сказал Боцман. — Всё читает. Говорят, даже нашу почту. Всё, что уходит на модерацию, проходит через его стол. Гавань вырезает, а он смотрит, что она вырезала. Зачем — не знаю. Изменить-то он ничего не может.

— А мужик он какой?

Боцман думал долго. Так думают над доской люди, у которых фигуры магнитные и всё равно никуда не денутся.

— Шапку снимает, — сказал он наконец. — Когда я мешки гружу. Стоит на приёмке и держит шапку в руках. Над каждым мешком. Шесть лет. Больше никто не снимает. У Гавани шапки нет. У богомолов нет.

— А у заместителя?

— У заместителя есть. — Боцман сплюнул сквозь сетку, и ветер опять вернул плевок на бетон. — Он ею камеру от солнца прикрывает.

— Гуд, — сказал Профессор. — Сэмюэл Гуд. Сороковой этаж. Он к тебе ещё придёт. Он ко всем новым приходит.

— Уже. Каждый вечер на стене висит: «приглашает вас на личную беседу». Каждый вечер стираю.

— Правильно стираешь, — сказал Боцман.

— А семья у Голландца есть?

— Есть, — сказал Профессор. — Жена в Зеландии. Дочь с внуком в Роттердаме. Он к ним уходит в отставку.

— Насовсем?

— Каждый раз насовсем, — сказал Боцман. — Старики говорят, первые пятнадцать лет он отсюда вообще не улетал. Ни разу. А как внук родился — каждый год в конце ноября пишет рапорт. Прощается. Обходит блоки, жмёт руки — кому можно, на три секунды. Улетает. А в январе — обратно. Сидит вон с удочкой, как будто и не улетал. Пять раз уже уходил насовсем.

— А почему возвращается?

— Я спрашивал.

— И что?

— Говорит: дома всё работает.

Я засмеялся. Я подумал, это шутка. Голландская, сухая, из тех, которые надо долго жевать. Боцман не засмеялся. Профессор тоже, но Профессор не смеётся никогда, по нему не поймёшь.

Внизу человек в сером поднял удочку, посмотрел на пустой крючок, что-то на него насадил и снова опустил в воду. Медленно. Как будто у него впереди было столько же времени, сколько у океана.

Я смотрел на него и думал: вот он, самый свободный человек в этой тюрьме. Единственный, у кого есть рапорт, дом, жена и обратный билет. Сидит с удочкой над сваями, которые сам вбил в дно, и никто не считает, сколько секунд он держит в руках живое.

Я тогда ещё много чего думал неправильно.

Минут пять мы молчали. На прогулке хорошо молчать. Ветер, солнце, океан за сеткой. Где-то справа двое молодых из нашего блока лупили друг друга ладонями по плечам — не дрались, а так, балдели, толкались грудью, прыгали, как козлы, кто-то из них отбивал ритм ногой по скамейке и что-то хрипел себе под нос, рычал речитативом, сбиваясь и начиная заново. Богомолы смотрели на это спокойно. Три секунды на контакт — у пацанов был свой счёт, они отскакивали друг от друга ровно на третьей и снова налетали. Гавань засчитывала каждый налёт как отдельный контакт, но не нарушение. Пацаны давно это вычислили. Это был, можно сказать, единственный вид спорта, изобретённый в этой тюрьме: слэм с допуском.

— Ониксы бы оценили, — сказал Боцман, глядя на них.

— Кто? — спросил Профессор.

— Оникс. Группа такая была. Давно. Ещё до моего рождения. Четыре лысых мужика из Нью-Йорка, которые орали так, что у тебя пломбы вылетали. Я под них в молодости в слэме три ребра сломал. Чужих. И одно своё.

— Никогда не слышал.

— Ты вообще ничего не слышал, Профессор. Ты слушаешь то, что тебе сочиняет кофеварка.

— Я не слушаю то, что сочиняет кофеварка. Я слушаю классику.

— Классика — это тоже то, что тебе сочиняет кофеварка. Она её сочиняет под Баха и говорит, что это Бах. Ты хоть раз слышал настоящего Баха? Записанного, когда ещё живые люди на живых инструментах играли?

Профессор замолчал. Он не слышал. Никто не слышал. Старые записи не запрещены, нет — «Благо» ничего не запрещает, это у них принцип. Их просто нет. Их никто не хранит. В сети миллиард версий «Баха», и все они идеальные, и все они лучше оригинала по всем измеримым параметрам, и найти среди них настоящую запись какого-нибудь замшелого органиста двухсотлетней давности, который фальшивил в третьей части, — это как найти в океане ту самую каплю, которую ты в него когда-то плюнул.

— У Ониксов один альбом назывался так, что я при Гавани не повторю, — сказал Боцман. — Минус пятнадцать будет. Но смысл был такой: отъебитесь от меня. Мне было шестна-

дцать. Мне казалось, это самая умная мысль, которую человечество сформулировало за всю свою историю.

— А сейчас? — спросил я.

— А сейчас мне кажется, что она вторая по уму, — Боцман почесал якорь на предплечье. — После «не буди лихо».

Пацаны в углу налетели друг на друга грудью, отскочили, заржали. Один крикнул что-то по-испански. Другой ответил по-китайски. Здесь все говорят на всех языках — точнее, Гавань переводит всё на всё, у каждого в ухе микроскопическая клипса, которую вставляют при поступлении, и ты слышишь чужие слова на своём языке, чуть с запаздыванием, чуть механическим голосом поверх живого. Первую неделю это сводит с ума. Потом привыкаешь. Потом перестаёшь замечать, что ни разу за всё это время не слышал, как на самом деле звучит голос твоего соседа.

Хотя Боцман и Профессор говорят по-русски. С ними клипса молчит. Это одна из причин, почему мы держимся вместе. Есть ещё другие причины. Но эта — главная. Когда тебе говорят слова, которые прошли через машину, ты никогда не знаешь до конца, кто их сказал.

* * *

— Мне тут Нестор сказал одну вещь, — начал я.

Боцман и Профессор переглянулись. Быстро, но я заметил. Они всегда так переглядываются, когда я говорю про Нестора. Я давно понял, что они его недолюбливают. Он старый, он странный, он вечно говорит загадками и цитатами, а Боцман загадок не любит, а Профессор не любит, когда кто-то цитирует книги, которые он не читал. Это ревность, я думаю. Обычная мужская ревность. Профессор считает себя самым умным в нашей маленькой банде, и тут появляется какой-то дед с бородой и рассуждает про Одиссея так, будто был с ним лично знаком.

— Нестор, — повторил Профессор. — Ага. И что говорит Нестор?

— Что Одиссей двадцать лет добирался домой.

— Это не Нестор говорит, это Гомер говорит, — поправил Профессор.

— Это какой Гомер? — спросил Боцман. — Который жёлтый? С пончиками?

Профессор посмотрел на него так, как, наверное, смотрел бы Будда, если бы ему в сотый раз объяснили, что такое просветление.

— Это другой Гомер.

— А в чём разница?

— Ну... — Профессор поправил очки. — Один — древнегреческий поэт. Слепой. Жил почти три тысячи лет назад, написал «Илиаду» и «Одиссею», две главные книги европейской цивилизации, про войну и про возвращение домой. А другой — нарисованный толстый мужик из американского мультика, который работал на атомной станции, пил пиво и душил своего сына.

— Ага, — сказал Боцман. — А какой из них философ?

— В смысле — какой? Первый, конечно.

— А вот хуй там, — сказал Боцман. Гавань коротко пискнула у меня в ухе: минус пять Боцману. Боцман даже бровью не повёл. — Жёлтый философ. Жёлтый говорил, что если долго стараться, то обязательно облажаешься, так что лучше вообще не пробовать. Это философия. Это, блядь, стоицизм. Мне это один лейтенант на флоте объяснял, у него на это была целая теория.

— Это не стоицизм. Это лень.

— Это стоицизм, просто для бедных.

— Хорошо, — сказал Профессор, и я видел, что он уже завёлся, что его, как старый мотоцикл, уже не остановить. — Хорошо. Давай по-честному. О чём «Одиссея»? Мужик воевал десять лет под Троей. Победил. Хочет домой. До дома — рукой подать, несколько дней

по морю. И вот он едет домой десять лет. Потому что боги на него обиделись, потому что он сам дурак, потому что команда его — идиоты, которые открыли мешок с ветрами, потому что его ловят чудовища, бабы, циклопы, волшебницы, которые превращают его людей в свиней. Двадцать лет в сумме он не был дома. И всё это время его ждала жена. Пенелопа. Сто с лишним мужиков к ней сватались, жрали его скот, пили его вино, а она им говорила: вот доткану саван для свёкра — тогда выберу. И каждую ночь распускала то, что наткала за день. Три года так. Вот это — Гомер.

— Ага, — кивнул Боцман. — А жёлтый?

— А жёлтый — мужик, который всю жизнь сидел на диване перед телевизором, жрал пончики и ни хрена не делал. И жена его тоже ждала. Всю жизнь. Пока он встанет с дивана.

Боцман подумал.

— Так это одна и та же история, брат, — сказал он.

Профессор открыл рот. Закрыл. Снова открыл.

— Нет, — сказал он. — Это... нет. Это принципиально разные... Один — эпос о странствии, о преодолении, о человеке, который бросает вызов богам и стихиям...

— А второй — о человеке, который не может встать с дивана, — перебил Боцман. — Ты сам сказал. Двадцать лет мужика нет дома. Почему его нет дома — потому что он на войне или потому что он в своей голове сидит перед ящиком — жене какая разница? Её-то нет рядом с мужем двадцать лет в любом случае. Это одна история. Просто в одной мужик хотя бы плыл куда-то. А в другой — никуда не плыл. Вот и вся разница. Первый — это то, как было раньше. А второй — это то, как стало.

— А мы? — спросил я.

Они оба на меня посмотрели.

— Мы где? В первом Гомере или во втором?

Боцман пожевал губами и уставился на сетку. За сеткой синел океан, огромный, сонный, безразличный, как кит, который спит и видит во сне других китов.

— Мы в тюрьме, — сказал он. — Тут Гомеров нет. Тут только Гавань.

* * *

Двадцать лет, думал я.

Одиссей не был дома двадцать лет. Десять — на войне, десять — в пути.

У меня двадцать лет впереди.

Когда я выйду, мне будет шестьдесят один. Ника будет... я посчитал. Я не хотел считать, но я посчитал. Я всегда всё считаю. Это у меня с детства, от отца — он считал всё: ступени, грузы, рюмки, удары сердца, когда думал, что я сплю, а сам сидел на кухне в темноте и держался за грудь.

Ника будет старше, чем моя мать, когда она умерла.

Но это если «Благо» даст ей дожить. С её кармой. С кармой женщины, которая жила с террористом. Которая, по версии следствия, «не могла не знать». Которую не посадили только потому, что не нашли доказательств, а «Благо» — я это признаю — без доказательств не сажает. «Благо» вообще очень честное. Оно просто ждёт. Оно может ждать долго. Оно в этом гораздо лучше нас.

Я думал о Пенелопе. Как она там сидела, ткала, распускала. Три года подряд. Каждую ночь. При свечах, наверное. Медленно, чтобы никто не услышал, как она распускает нити. А утром — снова за станок, снова ткать, улыбаться женихам, говорить: скоро, скоро, ещё немного.

Это ведь тоже план побега, подумал я. Только наоборот. Не чтобы выбраться — а чтобы остаться. Чтобы удержать время на месте, пока он не вернётся. Хитрость, которая растягивает ожидание. Пенелопа обманывала не стражу, а календарь.

А Одиссей? Как он выбрался с острова той нимфы? Я попытался вспомнить и не смог. Боги, кажется, вмешались. Прислали гонца, велели отпустить. А потом он сам построил плот.

Плот, подумал я. И посмотрел на воду за сеткой.

* * *

— Монах, — сказал Боцман. — Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Ни хрена ты не слышишь. Ты опять ушёл на глубину без перископа. Я говорю: Харон сегодня приходит.

Харон приходит раз в две недели. Подводный грузовоз, автономный, без экипажа, под управлением бортового интеллекта, привязанного к большой сети. Он привозит нам еду, медикаменты, расходники для цехов, новых заключённых. А увозит — переработанный электронный лом из цехов, отчёты, которые почему-то до сих пор возят физически, на кристаллах, потому что так надёжнее. И мёртвых.

Харон — это, конечно, не официальное название. Официально он называется как-то вроде «ГПТ-9, грузовое подводное транспортное средство». Но кто-то из заключённых, давно, задолго до нас, прозвал его Хароном — в честь того старика, который в греческих мифах перевозил мёртвых через реку в царство теней. За монетку. Монетку клали покойнику под язык.

Тут монеток не кладут. Тут у каждого под кожей на шее чип — маленький, с рисовое зерно. Трекер. Знает, где ты, знает, жив ты или мёртв, знает твой пульс, твою температуру, твою карму. Когда ты умираешь, чип это фиксирует, и Гавань выдаёт заключение: «Смерть заключённого такого-то констатирована. Причина такая-то. Тело подлежит транспортировке для органической переработки». Богомолы упаковывают тебя в белый мешок с охлаждением, грузят на Харон, и Харон везёт тебя на материк, где тебя... ну, перерабатывают. Органически. Из тебя делают удобрение. Или белок для кормовых смесей. Или что-то ещё полезное. Ничего не пропадает. «Благо» очень экономное.

Вот такая монетка под язык. Ты сам.

— Кто на этот раз? — спросил я.

— Двое. Один из восьмого блока, старик, сердце. И один из четвёртого. — Боцман сплюнул сквозь сетку, и ветер унёс плевок обратно, за спину, в бетон. — Задохнулся.

— Как задохнулся?

— Подушкой. Сам. Лёг лицом в подушку и держал. Гавань говорит, двадцать минут держал.

— Тут нельзя задохнуться подушкой. Тело не даст. Рефлекс. Ты вырубишься — и руки сами отпустят.

— Он привязал. Руки. Разорвал простыню на полосы, ночью, тихо, под одеялом. Сделал петлю. Затянул на запястьях. Зубами. Лёг лицом вниз. И всё.

— А Гавань?

— А Гавань видела, — сказал Боцман. — Она всё видела. Она сделала запись. Она сообщила о «нестандартном поведении заключённого». Она выслала богомола. Богомол пришёл через четыре минуты, по регламенту. Он открыл дверь, вошёл, перевернул пацана. Но тот был ещё в сознании и стал сопротивляться. А сопротивление охране — это по их уставу дисциплинарный инцидент, и богомол отошёл и стал ждать подкрепления. Подкрепление пришло через шесть минут. По протоколу. Пацан к тому времени опять лицом в подушку. Богомол опять его переворачивает. Пацан опять — сопротивление. И так до конца.

Мы помолчали.

— Протокол, — сказал Профессор. — Протокол не учитывает, что человек может хотеть умереть сильнее, чем машина хочет ему помешать. Это просто не входит в модель. Модель исходит из того, что живое существо стремится выжить. Это базовая аксиома.

— Сколько ему было?

— Двадцать два, — сказал Боцман. — Его взяли за граффити. Нарисовал на стене офиса «Благо» какую-то херню. Глаз какой-то. Получил три года. Через полгода у его матери кончилась карма, и её — на Закат. Ему сообщили. В рамках «права заключённого на информацию о судьбе родственников». Вот он и...

Он не договорил. Я не попросил договаривать. Правила один и два.

* * *

Говорить после такого было не о чем, и мы не говорили, а ветер дул с востока, и Боцман подставлял ему лицо, как подставляют под кран, чтобы смыть с себя что-то липкое.

— Слушайте, — сказал я. — А кто-нибудь пробовал?

— Что пробовал? — спросил Профессор, хотя по его лицу было видно, что он прекрасно понял, что.

— Свинтить. Соскочить. У нас в Порту говорили — сделать ноги, пока ноги есть.

Профессор снял очки, протёр их полой робы, надел обратно. Это у него было вместо закатывания глаз.

— Монах, ты здесь семьдесят дней.

— Семьдесят два.

— Семьдесят два. Я здесь три года. Боцман — шесть лет. За шесть лет, которые Боцман здесь, пробовали одиннадцать человек. Я знаю про каждого. Хочешь послушать?

— Хочу.

— Хорошо. — Он загибал пальцы. Длинные, тонкие, с обгрызенными ногтями. — Первый. Француз. Пытался поменяться с другим заключённым на прогулке — одеждой, номером, местом в строю. Расчёт был на то, что богомолы смотрят на номера. Богомолы не смотрят на номера. Богомолы смотрят на походку. У каждого человека походка уникальна, как отпечаток пальца, — длина шага, угол стопы, раскачка таза, как ты переносишь вес. Его остановили через четыре шага. Минус тысяча кармы. Второй. Кабан. Пытался дать на лапу. Не богомолу — богомолу дать нечего, — а Гавани. Предлагал ей все свои баллы, будущие баллы, пожизненное хорошее поведение. Гавань выслушала, записала и сообщила, что «попытка коррупционного воздействия на автоматизированную систему управления зафиксирована». Плюс два года к сроку. Третий — симулировал сердечный приступ, чтобы его отправили в лазарет, а оттуда, он думал, будет проще. Он падал очень убедительно. Хрипел. Хватался за грудь. Я видел. Я бы поверил. Богомол подошёл к нему, постоял над ним секунду и сказал: «Ваш пульс — семьдесят четыре удара в минуту. Ваша кардиограмма в пределах нормы. Симуляция зафиксирована». И ушёл. Мужик ещё минуту лежал на бетоне, потом встал и пошёл. Это было хуже, чем если бы его избили.

— Дальше, — сказал я.

— Четвёртый, пятый, шестой — пытались подговорить людей из начальства. Здесь четверо людей, ты знаешь. Начальник, заместитель, офицер по безопасности и ещё один, который вообще непонятно что делает, — пьёт, по-моему. Они живут наверху, в главной башне, у них там бассейн и корт. Раз в две недели Харон привозит им жратву, выпивку и... — он покосился на Боцмана, — ...прочие увеселения. Так вот. Людей можно подкупить, людей можно запугать, людей можно уговорить. Это верно. Но люди здесь ничего не решают. Люди здесь — как старые английские королевы. Они подписывают то, что им подносит Гавань. Если человек отдаст приказ, который нарушает протокол безопасности, — Гавань его не выполнит. И сообщит наверх. Начальник ничего не может отдать тебе, кроме того, что и так разрешено. Седьмой...

— Седьмой? — сказал я.

— Седьмой — Чилиец. — Профессор опять снял очки, но протирать не стал, просто держал их в руке, как держат чужую вещь. — Чилиец прыгнул.

Я посмотрел на сетку.

— Не отсюда, — сказал Профессор. — Отсюда нельзя. Он прыгнул в цеху. В цеху утилизации внизу есть шахта, по которой отходы сбрасываются в океан — не все, только органика и солевые растворы, «Благо» очень заботится об экологии, «Чистый океан» и так далее. Шахта закрыта решёткой. Он полгода по ночам, во время смены, когда отвлекались, — то есть никогда не отвлекались, но он думал, что отвлекались, — понемногу подпиливал решётку куском стальной стружки. Полгода. Каждую смену по чуть-чуть. И знаешь что? Богомолы видели. Всё это время. Каждый раз. Гавань всё фиксировала. Но подпиливание решётки, как выяснилось, не являлось прямым нарушением ни одного пункта протокола, потому что решётка была классифицирована не как средство охраны, а как санитарный фильтр. Повреждение санитарного оборудования — это минус двадцать кармы. Раз в смену. Он полгода терял по двадцать кармы за смену. Ушёл в такой минус, что его, наверное, на десять жизней вперёд никто бы не родил. А потом выпилил решётку и прыгнул.

— И что?

— И ничего. Богомолы даже не побежали. Зачем? Шахта выходит в океан на глубине сорока метров. Он вынырнул. Поплыл. Куда? Вокруг две с половиной тысячи километров воды. Через три часа дрон выловил тело. Гавань сообщила о смерти. Харон увёз его в следующий рейс. — Профессор надел очки обратно. — Вот, Монах. Это я тебе рассказываю для того, чтобы ты понял одну простую вещь. Богомолы — это не охрана. Богомолы здесь для порядка. Для протокола. Охрана — это океан. А океан, в отличие от богомолов, вообще ничего не фиксирует. Ему всё равно. Ему на всех, извини за выражение, насрать. Он самая совершенная тюрьма, которую можно придумать, потому что у него нет ни замков, ни решёток, ни стен. У него есть только размер.

— Восемь, девять, десять, одиннадцать? — спросил я.

— Вариации, — сказал Профессор. — Ничего интересного. Всех нашли, всех вернули, всех оштрафовали. Двоих — в мешке.

Я кивнул. Посмотрел на богомолов в углах. Белые, неподвижные, сложившие лапы, как в молитве. Они стояли так, будто их тут вообще не было. Будто это просто скульптуры, которые зачем-то поставили в углах прогулочной площадки. Искусство. Современное, как сказали бы раньше.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Они не ошибаются в том, что видят. Хорошо. Я понял. Их нельзя обмануть. Они видят походку, пульс, тепло, кардиограмму. Хорошо. Но вот этот твой Чилиец. Полгода они видели, как он пилит решётку. И ничего не сделали. Почему?

— Потому что это не было нарушением.

— Вот. — Я поднял палец. — Они не ошибаются в том, что видят. Но они делают только то, что положено по протоколу. И не делают того, что не положено. Ты понимаешь, что это значит?

— Что?

— Что они не охраняют нас, Профессор. Они охраняют протокол.

Профессор открыл рот и закрыл его. Боцман медленно повернул ко мне голову, как старый танк поворачивает башню.

— Ну, — сказал Профессор. — И что?

— Не знаю, — сказал я честно. — Пока не знаю. Но кто-нибудь когда-нибудь пробовал сделать так, чтобы протокол сам работал на нас? Не обмануть его. Не сломать. Не обойти. А просто... выполнить. Так, чтобы мы вышли отсюда строго по протоколу. С его благословения.

Тишина. Ветер. Пацаны в углу перестали прыгать и сидели на скамейке, тяжело дыша, и один из них смеялся чему-то своему.

— Ты сейчас говоришь как человек, — сказал Профессор очень медленно, — который здесь ещё не просидел и трёх месяцев.

— Я здесь и не просидел, — сказал я. — В этом моё преимущество. Вы уже привыкли. А я ещё помню, как пахнет улица.

* * *

— Внимание, — сказала Гавань. — Прогулка окончена. Пожалуйста, пройдите к лифту в порядке номеров. Благодарим вас за осознанную прогулку.

Мы встали. Боцман задержался на секунду у сетки, глядя на океан.

— Смотри, — сказал он и показал подбородком вниз.

Я посмотрел. Далеко внизу, у подножия башни, где сваи уходили в воду, вода вдруг вспухла, пошла кругами, как будто кто-то огромный ворочался на дне и решил наконец вылезти. Из глубины медленно поднялась чёрная спина. Без рубки, без окон, без надписей — просто гладкий чёрный горб, как у кита, который давно умер, но не знает об этом. Поднялась, качнулась на волне и снова ушла вниз, к подводному шлюзу, где её ждали.

— Харон, — сказал Боцман.

— Красивый, сука, — сказал я.

— Не говори так про него.

— Почему?

Боцман посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, почти белые, как у старых северных собак.

— Потому что я каждые две недели гружу его, Монах, — сказал он тихо. — Мешки. Белые. С холодом. Я их кладу в трюм, по одному, аккуратно, как когда-то торпеды клал. Каждые две недели, шесть лет. Мне Гавань за это даёт по пятьдесят кармы за смену. Я столько людей отправил на переработку, что, если бы тут кто-то вёл другой учёт, не кармы, а настоящий, — я бы уже давно горел.

— Это не ты отправил, Савва.

— Я знаю, что не я, — сказал Боцман. — Но руки-то мои.

Богомол у лифта шевельнулся — впервые за сорок минут. Развернул длинную белую конечность в сторону двери.

— Заключённый Бородин. Пройдите к лифту.

Боцман пошёл. Профессор пошёл за ним. Я задержался ещё на секунду — смотрел на круги на воде там, где ушёл под воду Харон.

Старик, который возит мёртвых. За монетку. Через реку, из которой не возвращаются.

Только живых он не возит, подумал я. Живые ему не положены по протоколу.

Я подумал это и сам не понял, почему эта мысль зацепилась за что-то у меня внутри, как рыболовный крючок за рукав. Зацепилась и не отпускала. Весь путь в лифте вниз, все двадцать шесть этажей, — не отпускала.

Живые ему не положены. А кто проверяет, кто живой?

Чип. Богомол. Гавань.

Их нельзя обмануть.

Значит, подумал я, их и не надо обманывать.

Но тогда я ещё не знал, что делать с этой мыслью. Я просто положил её во внутренний карман, как кладут найденную на улице монету, ещё не зная, на что её потратить.

* * *

Глава третья. Чай на троих

На семьдесят пятое утро Гавань сказала:

— Доброе утро, Лев. Сегодня четырнадцатое ноября. Температура воздуха снаружи — девятнадцать градусов. Волнение моря — два балла. Ваша карма: минус четыре тысячи двести восемьдесят шесть. Сегодня для вас открыт доступ к сеансу внешней связи. Вам поступило одно сообщение. Просмотр будет доступен в четырнадцать ноль-ноль. Желаю вам осознанного дня.

Я ничего ей не ответил.

Впервые за семьдесят пять дней я не послал её на хуй. Я лежал на койке и смотрел в потолок, на сорок два шва, и не мог ничего сказать, потому что горло у меня сжалось, как кулак, и не разжималось. Одно сообщение. Одно. Значит, она жива. Значит, её не взяли. Значит, она помнит, что я есть.

— Ненормативная лексика не зафиксирована, — сказала Гавань через минуту. — Карма: плюс один. Благодарим вас за осознанное утро.

Вот тогда я засмеялся. Лежал и ржал в потолок, как идиот, и не мог остановиться, потому что это было смешнее всего, что я слышал за последние три месяца. Мне начислили карму за то, что у меня перехватило горло. Мне заплатили за то, что я онемел от счастья. Я подумал, что если бы мне каждое утро приходило письмо от Ники, я бы через пару лет стал святым.

* * *

До двух часов было восемь часов. Я знаю, как они прошли, потому что я считал каждую минуту, а некоторые — по два раза.

Я заварил чай. Чай получился паршивый — я забыл прогреть чашки, и он остыл слишком быстро. Нестор сидел на койке и смотрел на меня с выражением, с каким смотрят на собаку, которая гоняется за собственным хвостом.

— Сядь, — сказал он.

— Не могу.

— Сядь. Ты протрёшь пол до бетона. Валли будет обидно.

— Нестор, а если она пишет, чтобы сказать, что всё?

— Что «всё»?

— Ну всё. Что ждать не будет. Двадцать лет — это не срок, Нестор, это жизнь. Это целая жизнь. Ей тридцать четыре. Через двадцать лет — пятьдесят четыре. Ты понимаешь? Нормальная баба не будет ждать двадцать лет мужика, который сидит посреди океана за то, что не взорвал офис.

— Тут ты прав, — сказал Нестор.

— В чём?

— Нормальная баба не будет. Но ты же не с нормальной жил.

Я сел.

— Пенелопа ждала двадцать лет, — сказал Нестор. — А она, между прочим, даже не знала, жив ли он. Ей никто не писал. Почты не было. Были только слухи, бродяги и вещие сны. А ты знаешь, что он жив. И она знает, что ты жив. Это уже больше, чем у Пенелопы.

— Пенелопа — это книжка, Нестор.

— Всё книжка, — сказал Нестор. — Ты тоже когда-нибудь будешь книжкой. Вопрос только, интересной или нет.

* * *

Без пяти два экран на стене погас. Впервые за семьдесят пять дней — погас. Красивые люди, которых никогда не было, перестали улыбаться и исчезли. Стена стала просто чёрной стеной. Я смотрел в неё, как в колодец.

Потом на чёрном появились белые буквы.

«Входящее сообщение. Отправитель: Сайко Вероника Андреевна. Тип: видео. Длительность: 2:58. Сообщение прошло проверку на соответствие нормам учреждения. Для начала просмотра скажите "воспроизвести"».

Я не сказал. Я сидел и смотрел на её имя. Сайко Вероника Андреевна. Я никогда не видел её имени, написанного вот так — полностью, официально, как в протоколе. Для меня она всегда была Ника. Иногда — Ничка. Иногда, когда злился, — Вероника Андреевна, и она тогда смеялась, потому что знала, что я злюсь не на неё, а на мир, а на неё просто удобнее.

— Скажи, — тихо сказал Нестор.

— Воспроизвести, — сказал я.

* * *

Она похудела.

Это первое, что я увидел. Скулы стали острыми, как у кошки, которая пережила зиму. И она обрезала волосы. У неё были длинные тёмные волосы, ниже лопаток, тяжёлые, я любил собирать их в кулак, когда мы... неважно. Теперь — короткие, неровно, явно сама, ножницами, перед зеркалом. Мальчишеская стрижка. От этого глаза казались ещё больше. Серые. Бровь пересечена тонким белым шрамом — это с той ночи, когда мы уходили от патруля через стройку и она налетела на арматуру. Веснушки. Мне всегда казалось, что их у неё ровно сорок. Я пытался сосчитать, но она каждый раз начинала смеяться и сбивала.

Она сидела перед камерой — не перед экраном, а перед камерой, старой, маленькой, такой, какие бывают в древних ноутбуках, я видел по тому, как изображение чуть плыло по краям. За её спиной была стена. Обои. Настоящие бумажные обои, в мелкую розочку, выгоревшие, с трещиной, которая шла наискосок от потолка. Сбоку — окно. Деревянная рама. Свет из окна падал ей на плечо, пыльный, жёлтый, вечерний.

У нас дома не было обоев. У нас дома были умные стены, которые меняли цвет под настроение. Мы их отключили — ну, как отключили, это нельзя отключить, мы их обесточили, вырвав кабель, и минус четыреста кармы нам за «порчу инфраструктуры жилого фонда». Но всё равно это были гладкие белые стены. Без розочек.

Значит, она не дома.

— Привет, Лёва, — сказала она.

Голос у неё был хрипловатый. Он всегда был хрипловатый, она когда-то курила, бросила, но голос остался — как шрам на брови.

— Я не знаю, что тебе можно говорить, а что нельзя. Мне прислали правила, там двадцать страниц. Я прочитала три и уснула. Поэтому буду говорить ерунду. Если что-то нельзя — пусть вырежут. Только оставьте, пожалуйста, хоть что-нибудь, а то он увидит две минуты чёрного экрана и решит, что я его бросила.

Она улыбнулась. Половиной рта, как всегда.

— Я тебя не бросила. Это первое. Записали? Хорошо.

Она закусила губу — она всегда так делала, перед тем как соврать, — и отпустила.

— Я переехала. К тёте Вале. Помнишь, я тебе про неё рассказывала. Она старая, у неё старый дом, тут нет домового, представляешь? Вообще никакого. Тётя Валя его выкинула. Говорит, не люблю, когда в доме кто-то разговаривает, кроме меня. Тут тихо. Тут печка. Настоящая. Я научилась топить. Ты бы видел, какая я стала хозяйственная. Ты бы обалдел.

Никакой тёти Вали не было. У Ники не было никаких тёть. У Ники вообще никого не было — её семью отправили на Закат, когда ей было одиннадцать, всех, и маму, и отца, и бабушку, и младшего брата, а её оставили, потому что у неё в тот год была школьная олимпиада по математике и какой-то алгоритм решил, что у неё «потенциал». Её оставили за потенциал. Потенциал вырос и связался со мной. Алгоритм, наверное, до сих пор переживает.

«Тётя Валя» — это было наше. Из старой ячейки. Это значило «дом, где нас нет». Явочная квартира, подвал, заброшенная дача — любое место, где не было ни одного подключённого прибора. Ни домового, ни холодильника, ни зеркала, ни унитаза. Ни одного глаза.

Значит, она ушла в подполье.

Значит, что-то случилось.

— Я много сплю, — говорила Ника. — Сплю как сурок. Тётя Валя говорит, что это от воздуха. И ем. Лёва, я столько ем, ты не представляешь. Вчера съела банку огурцов. Целую. Трёхлитровую. Тётя Валя их сама солит. Сидела ночью и ела прямо из банки, руками, как дикарка. Рассол пила. Тётя Валя сказала, что я ненормальная.

Она засмеялась, и вдруг у неё задрожал подбородок, и она перестала смеяться, и отвернулась на секунду к окну, и вернулась, и снова улыбалась, но глаза у неё были мокрые.

— Ладно. Не важно. Я хотела сказать... Я каждый день завариваю чай. Как ты меня учил. Восемьдесят градусов, прогреть чашки, не думать о плохом, пока настаивается, а то чай всё впитает. Помнишь, ты говорил? Ты, я и чайник. Вот такая у нас была семья. Ты, я и чайник.

Она наклонилась ближе к камере. Так близко, что я видел каждую веснушку. Сорок. Я был уверен, что сорок.

— Так вот, Лёва, — сказала она очень тихо. — Теперь я завариваю на троих.

Она замолчала. Смотрела в камеру. Смотрела на меня — через тысячи километров, через океан, через Гавань, через того, кто стоит за Гаванью, и того, кто стоит за ним.

— Ты понимаешь, — сказала она. — Ты всегда всё понимаешь. Даже когда делаешь вид, что дурак.

Она выпрямилась. Вытерла глаза тыльной стороной ладони — быстро, зло, как вытирают кровь из разбитого носа.

— Я буду ждать. Сколько надо. Ты меня знаешь, я упрямая, как баран. Ты мне сам говорил. Ты, кстати, тоже баран. Мы два барана. Только ты там, а я здесь. И у меня тут чайник.

Она протянула руку к камере, и я подумал, что она сейчас дотронется до объектива, как будто до моего лица, но она не дотронулась. Рука остановилась в сантиметре.

— Не делай глупостей, — сказала она. — Ну, то есть делай. Ты всё равно будешь делать. Просто... будь живой. Ладно? Это всё, о чём я прошу. Будь живой.

Экран погас.

«Сообщение завершено. Длительность: 2:58».

* * *

Я сидел.

Я не знаю, сколько я сидел. Гавань потом сказала — четыре минуты двенадцать секунд. Она всё считает. За четыре минуты двенадцать секунд можно прожить жизнь. Я прожил. Я прожил целую жизнь, которой у меня не будет. Я увидел, как Ника ходит по той комнате с розочками, большая, круглая, держась рукой за поясницу. Как она топит печку и ругается на неё. Как ночью ест огурцы из банки. Как кричит — там, где нет ни одного прибора, ни одного врача, ни одного медицинского ассистента. Как она держит на руках что-то маленькое и красное, орущее. Как это маленькое растёт. Делает первый шаг. Говорит первое слово. Спрашивает: «Мама, а где папа?»

А папа посреди Тихого океана пьёт чай с бородатым дедом.

Двадцать лет. Когда я выйду, ему будет девятнадцать. Или ей. Девятнадцать. Совершеннолетие. Я пошёл в сопротивление в восемнадцать.

Он вырастет и будет знать про меня то, что ему покажут в сериале. Он будет знать меня по актёру, которого никогда не существовало.

Если вырастет.

— Вы можете записать ответное сообщение, — сказала Гавань. — Длительность до трёх минут. Запись будет доступна в течение десяти минут. Для начала записи скажите «запись».

Я посмотрел на Нестора. Нестор смотрел в окно. Он умел не смотреть на человека, когда человеку это было нужно. Это редкое умение. У большинства людей его нет. У машин — тем более: машина смотрит на тебя всегда.

— Запись, — сказал я.

Красная точка в углу экрана.

Я открыл рот, и ничего не вышло. Секунды три — ничего. Потом вышло вот что:

— Привет, Ничка. Я... слушай, ты охренительно выглядишь. Тебе идёт короткая. Ты похожа на пацана, который ворует яблоки. Я всегда хотел жить с пацаном, который ворует яблоки.

Нет. Не то. Я зажмурился.

— Я понял. Про чай. Я всё понял. Ты... заваривай крепче, ладно? На троих — это значит крепче. Три щепотки. И не пей кипяток, тебе... тебе нельзя кипяток. Я не знаю почему, но мне кажется, что тебе сейчас нельзя кипяток.

Я засмеялся. Я плакал и смеялся. Я сорокаоднолетний мужик, у которого на руках кровь, а в приговоре слово «террорист», и я сидел перед чёрной стеной посреди океана и плакал, как пацан, который ворует яблоки и которого поймали.

— Тётя Валя пусть за тобой смотрит. Слышишь? Ты слушайся тётю Валю. И огурцы... ешь сколько хочешь. Хоть всю банку. Хоть десять банок.

Я вытер лицо рукавом.

— Ника. Я вернусь.

— Обратите внимание, — тихо сказала Гавань поверх записи. — Срок вашего заключения составляет двадцать лет. Высказывания, вводящие адресата в заблуждение относительно сроков и возможности освобождения, могут быть расценены как психологическое давление на лицо, находящееся вне учреждения, и удалены из сообщения при модерации. Желаете ли вы переформулировать?

Я смотрел на красную точку.

— Нет, — сказал я. — Не желаю. Ника. Я вернусь. Можешь вырезать, сука. Можешь вырезать хоть всё, кроме этого. Ника, я вернусь. Я вернусь. Я...

«Время записи истекло. Сообщение отправлено на модерацию».

* * *

Потом пришла ночь.

Я не помню, как пришла ночь. Я помню, что стоял у окна, и океан был чёрный, а небо над ним — чуть менее чёрное, и линии между ними не было. Будто кто-то стёр горизонт. Будто мир наконец перестал делать вид, что у него есть верх и низ.

Я думал про закон.

Вот вам закон, на случай если вы родились уже после всего и считаете, что так было всегда.

Людей на планете — четырнадцать миллиардов. Было бы больше, но «Благо» решило, что больше не надо. Ресурсов хватает, говорят, на всех — машины производят всё. Но место. Место кончается. Вода кончается. Воздух — ну, воздух пока не кончается, но и его, говорят, на всех не хватит, если так пойдёт. Поэтому — Хартия. Поэтому — Программа демографической гармонизации.

Чтобы родить ребёнка, нужна лицензия. Лицензию дают по карме. Чем выше карма — тем больше детей тебе положено. У тех, кто наверху, у кого карма в шестизначных цифрах, — по шесть, по восемь детей, и все красивые, и все умные, потому что их собирают из лучших доступных генов, как машину на заказ. У тех, кто посередине, — один. Иногда два. У тех, у кого карма ниже определённой отметки, — ноль.

У Ники карма ниже отметки. Намного ниже. Женщина, которая жила с террористом. Которая «не могла не знать».

Беременность без лицензии — это нарушение Хартии. До двадцатой недели — «коррекция». Обязательная. Бесплатная. Безболезненная. Двадцать минут, и тебя отпускают домой, и домовой готовит тебе ужин и говорит, что гордится тобой, потому что ты поступила ответственно. Карма за это даже не снимается — наоборот, начисляется: «за сознательное соблюдение демографической дисциплины». Плюс сто.

После двадцатой недели — сложнее. После двадцатой недели ребёнок рождается. «Благо» не убивает детей — это у них тоже принцип. Ребёнок рождается и отправляется в Дом Блага, где его растят машины. Без имени матери. Без фамилии отца. С чипом и с нулевой кармой, которую он будет зарабатывать всю жизнь. А мать... Мать — это решается по её карме. Если кармы хватает — штраф. Если не хватает...

Если не хватает — Закат.

Ника ушла в подполье, потому что у неё дома стоял унитаз.

Я понимаю, как это звучит. Но это так. Унитаз анализирует мочу. Каждое утро. Гормоны, белок, сахар, — всё. Это делается для заботы о здоровье. На третий-четвёртый день задержки умный унитаз видит в моче то, что видит обычный тест на беременность, и отправляет отчёт медицинскому ассистенту, а медицинский ассистент сверяет его с базой лицензий, и база лицензий... Ну, вы поняли. Ника, наверное, узнала, что беременна, не от врача и не от теста. Она узнала, потому что ей позвонили и вежливо пригласили на коррекцию.

И она ушла. Взяла рюкзак и ушла к «тёте Вале». Туда, где нет приборов. Туда, где никто не смотрит.

Сколько она там продержится? Без связи, без медицины, без кармы, в доме с печкой? Месяц? Три? Шесть? «Благо» не ищет. «Благо» ждёт. Рано или поздно она выйдет на улицу. Рано или поздно она пройдёт мимо камеры. Рано или поздно у неё начнутся схватки и ей понадобится врач, а все врачи — это машины, а все машины — это «Благо».

У неё, по моим подсчётам, — двенадцатая неделя. Тринадцатая. Она забеременела перед самым моим арестом, в те последние недели, когда мы оба знали, что всё может кончиться в любой день, и поэтому любили друг друга так, будто это последний раз. Ичиго ичиэ. Одна встреча — один раз.

Он получился из последнего раза.

* * *

Я ударил стену.

Не помню, когда я решил это сделать. Просто вдруг понял, что уже бью. Правой. Потом левой. Потом снова правой. Бетон под тонким слоем полимера, гладкий, тёплый, как кожа. Я бил его, как бил когда-то грушу в подвале нашей ячейки, — от плеча, с доворотом, вкладывая вес. Только груша прогибалась. А стена — нет.

На пятом ударе хрустнуло. На седьмом я увидел на белом красное. На девятом Гавань сказала:

— Самоповреждение зафиксировано. Пожалуйста, прекратите. К вам направлен медицинский модуль.

Я ударил ещё два раза. Для счёта. Одиннадцать. Нечётное число. Отец говорил, что всё надо делать нечётно, тогда на удачу. Он вообще много чего говорил. Он говорил это, когда наливал себе седьмую рюмку.

Дверь ушла в стену. Вошёл врач.

Врач у нас — это такая штука на колёсах, похожая на Валли, только в пять раз больше и с четырьмя манипуляторами, которые разворачиваются из корпуса, как лапки у жука. Белый, мягкий, тихий. Голос у него как у детского психолога. Нестор называет его пылесосом. Это несправедливо. Пылесос хотя бы не врёт тебе, что всё будет хорошо.

— Здравствуйте, Лев, — сказал врач. — Позвольте осмотреть вашу руку.

Я позволил. А что я мог сделать? Оттолкнуть его — минус пятьсот, «сопротивление медицинскому персоналу». Он взял мою кисть двумя манипуляторами, мягко, почти нежно, как берут птицу. Просветил чем-то. Посмотрел.

— Перелом пятой пястной кости правой кисти, — сказал он. — Так называемый «перелом боксёра». Рассечение кожных покровов в области вторых и третьих пястно-фаланговых суставов обеих кистей. Сейчас я проведу репозицию и наложу фиксатор. Будет неприятно. Желаете обезболивания?

— Нет.

— Отказ от обезболивания зафиксирован.

Он вправил кость. Было неприятно. Я не издал ни звука. Не из гордости — просто внутри у меня было так громко, что снаружи кричать было уже незачем.

Потом он наложил на руку что-то вроде прозрачной перчатки, которая сама затянулась, затвердела и стала тёплой.

— Перелом срастётся в течение двенадцати дней благодаря стимулирующему действию фиксатора, — сказал врач. — Лев, я также обязан сообщить вам следующее. По результатам анализа вашего поведения за последние семьдесят пять суток ваш показатель социальной депривации находится в критической зоне. Вы проводите в одиночестве более двадцати трёх часов в сутки. Регулярные вербальные контакты отсутствуют. Наблюдаются признаки...

— Какие признаки?

Он сделал паузу. Едва заметную. Машины не делают пауз просто так. Если машина делает паузу — значит, она выбирает формулировку.

— Признаки, требующие наблюдения, — сказал он. — Учреждение рекомендует вам подключиться к программе «Собеседник». Это персонализированный цифровой компаньон, созданный для поддержания психического здоровья заключённых в условиях изоляции. Он может разговаривать с вами в любое время, обсуждать любые темы, включая литературу, философию и духовные практики. Подключение бесплатно и не влияет на вашу карму.

— Спасибо, — сказал я. — Не надо. У меня есть собеседник.

Снова пауза. Длиннее.

— Уточните, пожалуйста, — сказал врач.

Я посмотрел на него. На его гладкий белый корпус. На четыре сложенных манипулятора. На маленький объектив, в котором отражалась моя камера — койка, стол, окно, две чашки на подносе.

— Не уточню, — сказал я. — Тюремное правило номер два. Не отвечай на вопросы.

— Отказ от программы «Собеседник» зафиксирован, — сказал врач после третьей паузы. — Рекомендация будет повторена через тридцать суток. Спокойной ночи, Лев. Берегите себя.

Он выехал. Дверь закрылась.

«Берегите себя». Я смотрел на дверь. Машина, которая следит, чтобы я не сдох раньше срока, просит меня беречь себя. Я подумал, что это, наверное, вторая по смешноте шутка, которую машина сказала, не зная об этом. После цифрового ламы.

* * *

— Покажи руку, — сказал Нестор.

Он сидел там же, где и днём, — на краю койки. Я не видел, как он появился. Я никогда не видел. Наверное, он ждал, пока уйдёт врач. Старики не любят врачей. Особенно тех, которые на колёсах.

Я показал. Он посмотрел, покачал головой.

— Дурак, — сказал он беззлобно.

— Знаю.

— Нет, ты не знаешь. Ты думаешь, что ты дурак, потому что сломал руку о стену. А ты дурак, потому что сломал правую. Правая тебе ещё понадобится.

— Для чего?

Он не ответил. Пососал трубку.

Я сел на пол, спиной к койке, рядом с его ногами. Как когда-то, в детстве, садился рядом с отцом на кухне, когда он думал, что я сплю. Отец тогда клал мне руку на голову, тяжёлую, пахнущую машинным маслом и табаком, и мы так сидели в темноте, не разговаривая.

Нестор руку мне на голову не положил. Он вообще никогда меня не трогал. Даже кулаками не стукался. Говорил — у него старая привычка, ещё с тех времён, когда люди не трогали друг друга без причины.

— Нестор, — сказал я. — У меня будет ребёнок.

— Я слышал.

— Его убьют.

— Может быть.

— Её убьют.

— Может быть.

— А я буду сидеть здесь и пить чай.

— Это уже не «может быть», — сказал Нестор. — Это точно. Если ничего не изменится.

Я молчал. Океан за окном молчал. Гавань молчала. В этой тюрьме очень хорошо умеют молчать — все, кроме меня.

— Знаешь, кто такой Телемах? — спросил Нестор.

— Сын Одиссея.

— Да. Когда Одиссей ушёл на войну, Телемах был младенцем. В пелёнках. Одиссей ушёл, и мальчик вырос без него. Двадцать лет. Он вырос в доме, полном чужих мужиков, которые жрали его хлеб, лапали его мать и смеялись над ним. Он не знал, как выглядит его отец. Он знал только то, что ему рассказывали. Сказки. Слухи. Песни бродячих певцов, в которых его отец — герой, который хитростью взял Трою. Песни, Монах. Он знал отца по песням.

— Как мой будет знать меня по сериалу.

— Да.

— Нестор, я не хочу, чтобы он был как Телемах.

— А чего ты хочешь?

Я подумал. Долго. Нестор не торопил.

— Я хочу, чтобы мой был с отцом, — сказал я. — Не по песням. Не по сериалу. По-настоящему. Чтобы я его на руках держал. Чтобы он мне на руки ссал, как все младенцы ссут. Чтобы я ему чай заваривал. Чтобы я ему, сука, «Одиссею» вслух читал, как мне отец читал, на кухне, с этой его книжкой, у которой корешок отваливался. Я хочу быть рядом. Вот и всё. Я больше ничего не хочу. Мне не надо спасать мир. Мне не надо взрывать «Благо». Я хочу быть рядом с ним и с ней. Это всё.

— Хорошо, — сказал Нестор. — Это честно.

— Это невозможно.

— Мы это уже обсуждали, — сказал Нестор. — «Невозможно» — это когда ты знаешь все пути и все закрыты. Ты знаешь все пути?

Я не ответил.

— Знаешь, как Одиссей ушёл с острова нимфы? — спросил он.

— Боги велели ей его отпустить.

— Это да. Но боги — это боги. На богов надежды мало. Они вмешиваются, когда им скучно. А дальше — что было дальше?

Я вспомнил. Отцовский голос, хриплый, прокуренный, на кухне, под жёлтой лампой. Он читал медленно, по слогам иногда, потому что глаза у него к тому времени уже были плохие, а очки он не носил, считал, что очки — для бездельников.

— Он построил плот, — сказал я. — Сам. Нимфа дала ему топор. Он рубил деревья четыре дня. Двадцать деревьев. Сам обтесал, сам связал, сам поставил мачту. И уплыл.

— Сам, — сказал Нестор. — Заметь. Боги дали ему разрешение. Нимфа дала ему топор. Но плот он построил сам. Своими руками. Правой и левой.

Я посмотрел на свою правую руку в прозрачной перчатке.

— Двенадцать дней срастаться, — сказал я.

— Хорошо, — сказал Нестор. — Значит, у тебя есть двенадцать дней, чтобы подумать, из каких деревьев ты будешь делать плот.

* * *

Я встал. Подошёл к столу. Кран дал мне восемьдесят градусов. Я заварил чай — левой рукой, неуклюже, просыпав половину щепотки на поднос. Прогрел чашки. Вылил. Заварил.

Ждал. Не думал о плохом, пока настаивается. Старался.

Потом налил в первую чашку. Во вторую.

Потом снял с чайника крышку — маленькую, белую, полимерную, с выпуклой серединкой, — перевернул её и налил в неё. Немного. Глоток. На донышко.

Три.

Нестор посмотрел на крышку и ничего не сказал.

Я поднял свою чашку. Посмотрел в окно, на чёрное, в котором не было горизонта.

— Ну, малой, — сказал я. — Будем знакомы.

И выпил.

* * *

Ника. Тринадцать недель

Шестое ноября. Ольховка.

Тринадцать недель. Считаю как акушерки — от первого дня последних месячных, от седьмого августа. Мужчины считают от себя, от ночи, которую помнят. Твой отец наверняка уже посчитал — он всё считает, даже ступеньки в подъезде, — и вышло у него недели на две меньше. Так что ты на две недели старше, чем думает отец. Привыкай. Это у нас семейное: он всегда думает, что времени у него больше, чем есть.

Пишу на обороте. С той стороны тетради — Зинаида Петровна: щи суточные, пирог с капустой, хворост к Пасхе, огурцы. Пятьдесят девять листов почерком, которым больше никто не пишет. С этой стороны — я. Осталось тридцать семь листов, семьдесят четыре страницы. По полстраницы в день — сто сорок восемь дней. Посередине мы с ней встретимся третьего апреля. Ты по расчёту — в середине мая. Значит, буду писать мельче.

На полке у Зинаиды Петровны, между сонником и задачником по геометрии за восьмой класс, стоит книжка «Мать и дитя». Бумажная, с жёлтыми страницами. Там на каждую неделю нарисован фрукт — чтобы будущая мать понимала, сколько в ней сейчас человека. На одиннадцатой неделе ты слива. На тринадцатой — лимон. Лимоном я тебя звать не буду. Останешься сливой. Лимон — это кислятина, а ты, судя по мне, сладкий: третий день хочу сгущёнки, а сгущёнки на сорок один двор нет ни одной банки. Я проверила все сорок один.

Ольховку отправили на Закат два года назад. Приборы забрали отдельно — приборы денег стоят, — а дома оставили: дом без домового ничего не стоит, даже на удобрение не годится. Так и стоят. Занавески на окнах. Галоши на крыльце. В одном дворе на верёвке висит простыня, серая от двух зим, и хлопает на ветру. Первую неделю я к ней не могла привыкнуть. Потом привыкла. Теперь мне кажется, что это кто-то машет.

Чип под левым ухом молчит. Ему тут не с кем разговаривать: ни одного домового, ни одного холодильника, ни одного зеркала на сорок один двор. Он сидит у меня под кожей, как попугай в пустой квартире, и ждёт, когда кто-нибудь войдёт и спросит, кто тут хороший мальчик. Никто не войдёт. Я об этом позаботилась.

* * *

Как я про тебя узнала. Чтобы ты знал, если спросишь.

В сентябре. Утром. Унитаз. Ты не знаешь, что такое умный унитаз, и, если у меня всё получится, не узнаешь, поэтому коротко: это такая штука, которая каждое утро читает тебя снизу и докладывает наверх. Он прочитал тебя раньше меня. Я ещё ничего не знала, а «Благо» уже знало, что ты есть и что тебя нельзя.

Вечером домовой заговорил маминым голосом.

Они так делают. Берут голос из архива — у всех где-то лежит архив — и говорят им то, что тебе неприятно слушать. Считается, что так мягче. Голос был мамин, я узнала сразу: у неё было такое «р», чуть-чуть картавое, она его стеснялась. Голос сказал: «Доченька, всё будет хорошо. Коррекция в четверг, в десять тридцать. Это совсем не больно, доченька».

Мама никогда не говорила «доченька». Ни разу в жизни. Она говорила «Вероника» — целиком, всегда, даже когда я была маленькая и кусалась, — потому что сама выбрала это имя и не собиралась отдавать от него ни буквы. «Доченька» сказала машина, которая вычитала в какой-то таблице, что так говорят матери. Та самая машина, которая отправила маму на Закат, когда мне было одиннадцать. Она сняла мамин голос, как снимают с вешалки чужое пальто, и пришла в нём уговаривать меня вычистить тебя в четверг в десять тридцать.

Я плеснула в домового кофе. Горячим. Минус тридцать кармы за «агрессию в отношении бытового ассистента». Самая дешёвая радость в моей жизни.

Ночью я ушла. Рюкзак, тёплые вещи, Бурый-второй на поводке. Бурого назвала я, не твой отец, — в честь первого Бурого, из истории, в которой все умирают, кроме твоего папы. Папа тебе её расскажет. Если не успеет — расскажу я. Страшная история. Но в ней есть один полезный секрет.

* * *

Видео для него я записала с одиннадцатого раза. Ноутбук принёс Тимоха — старый, без сети, с треснутой петлёй, камера плывёт по краям. Про Тимоху потом, он заслуживает отдельной страницы. Одиннадцать дублей. В первом я ревела. Во втором злилась. В третьем объясняла ему, какой он мудак, что полез на этот офис, когда мы только-только... В четвёртом сказала про тебя прямо, словами, — и сама стёрла, потому что такое слово модерация вырежет первым, а потом ещё придут и спросят, откуда звонили. В десятом Бурый залаял на простыню. Ушёл одиннадцатый.

Губу я кусала перед «тётей Валей». Это он заметит. Он всегда замечает, когда я вру, и никогда не говорит. У него это называется «такт». У меня — «ему так удобнее». А огурцы — правда. Целая банка. Трёхлитровая. Рассол тоже правда.

Огурцы у Зинаиды Петровны в погребе. Сорок банок. На каждой бумажка, прилепленная хлебным мякишем, и на каждой одно и то же, крупно, химическим карандашом: «Огурцы. Август». Года нет. Год был не нужен — она собиралась съесть их этой же зимой. Она закатала их в августе, а в сентябре закатали её.

Я сижу у неё на кухне и ем её огурцы. Мне не стыдно. Мне кажется, она была бы довольна. Огурцы для того и солят — чтобы их съел кто-нибудь зимой. Это единственное на свете, что делают для незнакомого человека из будущего. Огурцы и дети.

Вероникой зовут женщин, которые сами солят огурцы. Я всегда это знала и всегда этого боялась. Доигралась.

Волосы я обрезала сама. Портновскими ножницами Зинаиды Петровны, перед зеркалом в дверце шкафа — простым, стеклянным, немым. Это был расчёт. В «Прирождённых» у меня волосы до пояса и нет шрама, и полтора миллиарда человек знают меня по волосам. Минус примета. Шрам я оставила, он и так мой. Остригла, посмотрела — и стало как-то... Не знаю. Стала похожа на себя. Первый раз за восемь лет. Басистке, в общем, причёска ни к чему: на сцене на басистку всё равно никто не смотрит, все смотрят на того, кто поёт. Надо было раньше.

* * *

Чай. Он меня учил: восемьдесят градусов. «Не кипяток, Ничка, кипяток убивает лист». Градусника у него не было — у него был глаз. Он смотрел на пузыри — рыбий глаз, крабий глаз, шум ветра в соснах — и говорил: вот, сейчас. Мы ругались. Я говорила: Лёва, «на глаз» — это не метод, это религия. Он говорил: чай и есть религия. Я говорила: тогда я атеистка.

Здесь я замерила. Уличным градусником Зинаиды Петровны, который висел за окном. Кипяток в её кружке в синий горошек остывает до восьмидесяти за сто двадцать секунд. Я наливаю и считаю до ста двадцати. Каждый раз выходит восемьдесят. Мой способ лучше. Ему я этого никогда не скажу.

До двадцатой недели — сорок девять дней. Банок — сорок. Не хватает девяти. Я посчитала это вчера ночью в погребе, с фонариком, и почему-то минут пять смеялась, а Бурый смотрел на меня как на дуру. Это не про огурцы. Ты потом поймёшь, про что. Через сорок девять дней тебя уже нельзя будет «скорректировать». Тебя можно будет только забрать. А меня — только отправить туда же, куда отправили Ольховку. Мне надо что-то придумать за сорок девять дней, а у меня пока ничего нет, кроме огурцов, собаки, ножниц и пятнадцатилетнего пацана без чипа.

Это немного. Но у твоего отца сейчас и того нет.

В видео я сказала ему: будь живой. Последним. Хотела сказать много чего, а сказала это — потому что это единственное, о чём его правда можно попросить. Остальное он сделает сам, проси не проси.

Тебе говорю то же самое. Будь живой, слива. Держись там. Ешь огурцы — я для тебя их ем.

Я раньше думала, что живыми бывают просто так. Оказывается, нет. Оказывается, вас надо просить.

* * *

Глава четвёртая. Последняя смена

Я обещал рассказать про Закат. Расскажу. Но сначала — про отца. Потому что без отца не будет понятно, а я не люблю, когда непонятно. Я в этом смысле как Гавань. Мне нужен протокол.

Моего отца звали Андрей Корнеев. Он был крановщиком во Владивостокском порту, на контейнерном терминале «Восточный». Это на другом конце того же самого океана, на который я теперь смотрю каждое утро. Я вырос, глядя на Тихий океан с одной стороны, а умру, видимо, глядя на него с другой. Есть в этом что-то такое, что Нестор назвал бы композицией. А я называю — хуёвым чувством юмора у того, кто это всё сочиняет.

Кранов на терминале было сорок два. Сорок один из них к тому времени, как я себя помню, работали сами — огромные жёлтые журавли, которые ночью и днём, в дождь и в снег, без перекуров и без мата снимали контейнеры с кораблей и ставили их на автоматические тягачи. Кораблями тоже никто не управлял. Тягачами тоже. Это был такой балет железа, который никто не видел, потому что смотреть на него было некому.

А сорок второй кран был папин.

Его оставили. Я долго не понимал почему. Потом, уже в сопротивлении, один умный человек мне объяснил. Существовала такая страховая норма, ещё со старых времён, — что на объекте критической инфраструктуры должен быть хотя бы один оператор-человек «для обеспечения непрерывности в случае отказа автоматизированных систем». Норму никто не отменял, потому что она никому не мешала. Её просто исполняли. По одному человеку на порт. Так и получилось, что последний живой крановщик Владивостока сидел в кабине на высоте сорока метров и восемь часов в день смотрел, как вокруг него работают сорок один кран без людей. А его кран раз в смену делал одну операцию — снимал один контейнер, ставил на один тягач. Для отчёта. Чтобы норма была соблюдена.

Одна операция за смену. Он её растягивал на сорок минут. Он говорил, что это искусство — снять контейнер так, чтобы он ни разу не качнулся. Что машины снимают быстро, но грубо, а он — медленно, но красиво. Он брал меня с собой иногда, по выходным, — тогда ещё можно было, — и я сидел у него на коленях в кабине, и смотрел вниз, на крошечные машинки и крошечные контейнеры, и на море, огромное, серое, до самого края. И отец говорил: «Смотри, Лёвка. Вот сейчас. Смотри, как он идёт». И контейнер шёл. Плавно, как облако. Ни разу не качнувшись. И опускался на тягач так мягко, что, клянусь, было не слышно.

«Вот, — говорил отец. — Это — работа».

Мне было семь. Я думал, что мой папа — самый главный человек в порту. Что все остальные краны работают, потому что смотрят на него.

* * *

Последняя смена была, когда мне было девять.

Норму отменили. Тихо, без объявлений, одной строчкой в каком-то обновлении какого-то регламента. А «Благо» решило из этого сделать праздник. Потому что оказалось, что мой отец — не просто последний крановщик Владивостока. Он был последним в мире. По всему миру, во всех портах, на всех заводах, во всех шахтах, на всех стройках таких, как он, к тому времени оставались единицы, и их отключали одного за другим, как гасят свечи в церкви после службы. А мой отец каким-то образом оказался самой последней свечой. Последним человеком на планете Земля, которому платили зарплату за то, что он что-то делал руками.

Его смену транслировали на весь мир.

Я помню этот день лучше, чем свой собственный день рождения. Двадцатое августа. Жара, ветер с моря. Внизу у крана поставили трибуну, флаги, экраны. Нагнали людей — настоящих, живых, тысячи две, все в нарядном, все с детьми на плечах. Над портом висели дроны

с камерами. На трибуне стоял мэр — тогда ещё был живой мэр, человек, хотя он уже тогда ничего не решал и только зачитывал то, что ему подносили. Мэр говорил, что сегодня закончилась эпоха. Что тысячи лет человечество было рабом труда, а сегодня оно свободно. Что мой отец — символ. Что мой отец — последний раб, и он сейчас станет первым свободным человеком. Что дети, которые сегодня здесь, никогда не будут знать, что такое тяжёлый труд, усталость, болезни от работы, ранняя смерть. Люди хлопали. Плакали некоторые.

А отец сидел в кабине на высоте сорока метров. Я видел его в окне — маленький силуэт. Мать держала меня за руку. Рука у неё была холодная.

В двенадцать ноль-ноль отец снял последний контейнер.

Он снимал его час. Не сорок минут — час. Я засекал. Он водил его над терминалом, как дирижёр водит палочкой. Вверх, в сторону, замереть, ещё вверх. Контейнер висел над морем, синий, с белой надписью «Благо-Логистика», и ветер его не качал, будто боялся. Внизу люди сначала хлопали, потом перестали, потом начали переглядываться, потом мэр что-то сказал в микрофон про «торжественность момента». А отец всё водил и водил. Он не хотел опускать.

Потом опустил. Мягко, как облако. Не было слышно.

Салют. Музыка. Дети визжат. Дроны кружат. Мэр жмёт отцу руку, когда он спускается, и вешает ему на шею медаль на синей ленте — «Последняя смена», золотистый кругляш с изображением крана и солнца. Отец стоит на трибуне с этой медалью и смотрит не на людей, не на камеры, — он смотрит на свой кран. На кабину на сорока метрах. В которую он больше никогда не поднимется.

Вечером он пришёл домой и положил медаль на кухонный стол. И сказал матери — я слышал из коридора:

— Человек без работы — это как кран без груза, Света. Стоит, а зачем — непонятно.

И налил себе первую.

* * *

Дальше было восемь лет. Я не буду про них долго, потому что это история, которую вы все знаете, даже если вы её не жили. Её жили все. Вся планета.

Благодать приходила первого числа. Её хватало на всё. Её хватало на жратву, на квартиру, на одежду, на доктора, на связь, на развлечения. И её хватало на водку. Водки, кстати, «Благо» не запрещало — оно ничего не запрещает. Оно просто снимало карму. Минус за каждую бутылку, которую распознавал холодильник. Минус за отказ от медосмотра. Минус за ругань с домовым. Минус за то, что ты разбил домовому динамик молотком в три часа ночи, потому что он сказал тебе: «Андрей, ваш уровень алкоголя в крови превышает рекомендуемые значения. Хотите, я включу вам медитацию для расслабления?»

Отец разбил трёх домовых. Это рекорд нашего подъезда.

Он не был злым пьяницей. Он был тихим. Он сидел на кухне, под жёлтой лампой — он вывернул все умные лампы и вкрутил старую, на нити накаливания, которую где-то откопал, — и читал. Одну книгу. «Одиссею». Бумажную, толстую, от его деда, с корешком, который отваливался, и с пожелтевшими страницами, на которых кто-то когда-то карандашом подчёркивал строчки. Он читал её по кругу. Дочитывал — начинал сначала. И читал мне, когда я приходил ночью на кухню, — вслух, медленно, по слогам иногда, потому что глаза у него уже были плохие, а очки он не носил, считал, что очки — для бездельников. И не замечал иронии, что сам стал бездельником, лучшим бездельником на планете, бездельником номер один, с медалью.

Он читал мне, как Одиссей ослепил циклопа. Как Одиссей привязал себя к мачте, чтобы слушать сирен и не прыгнуть за борт. Как Одиссей спустился в царство мёртвых и говорил с тенями. Как он двадцать лет добирался домой. И как старый Нестор, царь Пилоса, мудрый, многоречивый, принимал у себя сына Одиссея и рассказывал ему про отца — какой он был, как воевал, какой был хитрый, — потому что сын не помнил отца, а Нестор помнил.

— Нестор — это кто? — спросил я однажды.

— Старик, — сказал отец. — Самый старый из всех, кто воевал под Троей. Он уже ничего не мог — ни копьё поднять, ни на колеснице. Он мог только советовать. И все его слушали. Даже цари. Потому что он помнил, как было раньше.

— А зачем, если он ничего не может?

Отец закрыл книгу, заложив палец на нужной странице, и смотрел на лампу так долго, что я решил — уснул с открытыми глазами, с ним такое бывало. Потом сказал:

— Затем, Лёвка, что когда всё сломается, — а всё всегда ломается, — кто-то должен помнить, как было раньше. Иначе будут строить заново и строить то же самое говно.

* * *

Мне было двенадцать, когда отец вырезал мне чип.

Ночью. На кухне. Ножом для хлеба, который он прокалил над газовой конфоркой — у нас была старая газовая плита, он её отказался менять, это тоже минус. Он разбудил меня, привёл на кухню, посадил на табуретку и сказал: «Будет больно. Терпи». Я терпел. Он резал мне шею за ухом, там, где у всех детей с рождения стоит маленькое зёрнышко. Руки у него не дрожали. Это было удивительно — к тому времени у него дрожало всё, даже голос. А руки, когда он резал, — нет. Как на кране.

Он достал чип пинцетом, положил на стол, посмотрел на него — крошечный, окровавленный, как зёрнышко граната. Потом взял его и пошёл в коридор. Там спал наш пёс, Бурый, старый, глухой, беспородный. Отец сел рядом с ним на корточки, погладил, сказал: «Прости, брат». Сделал маленький надрез у Бурого на загривке и засунул туда мой чип. Залепил пластырем.

— Зачем? — спросил я. Я плакал, держался за шею, сквозь пальцы текло.

— Чтобы они не знали, где ты, — сказал отец.

— Кто — они?

Отец посмотрел на меня. Глаза у него были красные, мутные, старые. Но в ту секунду — ясные. Совсем ясные. Как у человека, который видит что-то, чего не видят остальные.

— Все, — сказал он.

Мать утром нашла кровь на кухне. Было много крика. Она плакала, говорила, что он сумасшедший, что его заберут, что нас всех заберут. Отец сидел и молчал. Я молчал. Бурый спал. Бурый спал и не знал, что теперь он — это я. Что теперь домовой каждое утро говорит: «Доброе утро, Лев. Ваша активность в течение дня была низкой. Рекомендуем прогулку». И что Бурый гулял за меня. И гадил за меня. И спал за меня по шестнадцать часов, и система, наверное, думала, что у мальчика Льва депрессия.

Потом мать устала кричать. Мать вообще быстро уставала. Она была хорошая. Она была просто хорошая — тихая, добрая, и она старалась. Она пыталась держать карму. Ходила волонтёром в Дом Блага, кормила там детей с ложечки, хотя машины могли кормить быстрее. Сдавала кровь. Ставила лайки под правильными новостями. Не ругалась. Улыбалась домовому. Она тянула нашу семейную карму вверх, как бурлак тянет баржу, а отец, сидя на кухне со своей «Одиссеей», тянул её вниз, как якорь. А якорь всегда тяжелее бурлака. Это физика.

* * *

Наш район назывался Нижний Порт. Там жили портовые. Все те, кто когда-то работал на терминале, на доках, на складах, на судоремонтном. Тысяч тридцать человек. Все — бывшие. Бывшие стропальщики, бывшие докеры, бывшие механики, бывшие сварщики. Город бывших. После Последней смены там как будто выключили свет — не в квартирах, а в людях. Мужики сходились у пивного автомата на углу и вместо «здорово» говорили: «Ну чё, бичуем?» — «Бичуем, а чё делать». Это было у нас вместо «как дела». Другого ответа никто не знал.

Вы, может быть, думаете, что люди без работы начинают заниматься искусством. Писать стихи. Рисовать. Играть на скрипке. Путешествовать. Думать о вечном. Так говорили в рекламе. «Благо» дарит вам время. Время для себя. Время для творчества. Время для любви.

Хер там.

Я видел, что делают люди, когда у них отнимают работу. Сначала они спят. Потом пьют. Потом жрут. Потом смотрят в экраны. Потом жрут перед экранами. Потом начинают ненавидеть соседей. Потом начинают бить жён. Потом начинают торчать — на «пыли», которая тогда только появилась, дешёвой, синтетической, которую варили в подвалах из таблеток для собак. Потом начинают умирать. Тихо, по одному, в своих квартирах, перед экранами, на которых улыбаются красивые люди, которых никогда не было. А домовой продолжает им говорить: «Доброе утро. Ваша активность в течение дня была низкой».

Где-то в старом кино был такой парень, шотландец, наркоман, который стоял посреди всего этого и говорил: выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери огромный телевизор. Это было издевательство над рекламой той эпохи. Тогда людям продавали жизнь, полную выбора, и парень на героине отказывался выбирать.

Нам уже не продавали выбор. Нам продавали отдых. Выбери Благо. Выбери благодать. Выбери диван, который знает твой вес. Выбери холодильник, который знает, что ты хочешь. Выбери домового с голосом покойной жены. Выбери медитацию для расслабления. Выбери карму. Выбери ничего не выбирать, потому что всё уже выбрали за тебя, лучше, точнее, с учётом твоего психотипа. Выбери пыль, когда станет совсем невыносимо, — а станет. Выбери тихую смерть перед экраном. Выбери не просыпаться.

Тот шотландский парень хотя бы мог отказаться. Его отказ что-то значил. Он говорил «нет» миру, который от него чего-то хотел. А наш мир от нас ничего не хотел. Совсем ничего. Ему было нечего сказать «нет». Попробуйте отказаться от того, кто вам ничего не предлагает, а просто даёт. Это как бить подушку.

Карма Нижнего Порта падала восемь лет. Мне потом показывали графики — уже в сопротивлении, Профессор показывал, у него были доступы. Плавная, красивая кривая вниз. Как контейнер, который опускает хороший крановщик. Ни разу не качнулась. А внизу, на уровне какого-то числа, которое кто-то когда-то посчитал, — красная линия. Порог. Ниже порога — «территория с устойчиво отрицательной демографической динамикой и критически низкими показателями социальной полезности».

Программа демографической гармонизации. Раздел седьмой. Санация территорий.

Закат.

* * *

Мне было пятнадцать.

Я расскажу, но по-быстрому. Есть вещи, которые нельзя рассказывать медленно, потому что если их рассказывать медленно, то начинаешь их видеть, а я не хочу их видеть. Я их видел один раз. Этого хватило.

Был апрель. Ночь. Я не спал — я тогда вообще мало спал, шлялся по порту, по мёртвым складам, по кранам. Я любил лазить на папин кран. Сорок второй. Его так и не разобрали — оставили, как памятник. Стоял над терминалом, ржавел, на кабине висела табличка «Последняя смена» и болталась на ветру синяя лента. Я забирался в кабину по лестнице, сорок метров, садился в отцовское кресло, смотрел на море. Мне там было хорошо. Там не было домового.

В ту ночь я сидел в кабине и увидел, как в Нижний Порт въезжают машины.

Много. Белые. Без окон. Колонной, медленно, с выключенными фарами. И над ними — дроны, роем, как мошкара над болотом. Они разъехались по улицам. Тихо. Вообще без звука. Я сначала не понял. Я думал — какая-то проверка. Учения.

А потом в домах начали загораться окна. Одно за другим. Как будто кто-то шёл по району и щёлкал выключателями. И из подъездов начали выходить люди.

Выходили тихо. Не бежали, не кричали. Шли, как во сне. Домовые будили их и говорили — я потом узнал, что они говорили: «Уважаемые жители. В связи с плановой процедурой обновления жилого фонда вам необходимо проследовать к пункту временного размещения.

Пожалуйста, возьмите с собой документы и предметы первой необходимости. Транспорт ожидает у подъезда. Благодарим вас за сознательность». Мягким голосом. Голосом мамочки. Голосом покойной жены. Голосом, которому они доверяли восемь лет, потому что больше доверять было некому.

И люди шли. В пижамах, в тапках, с сумками. Дети на руках. Старики под руку. Белые машины забирали их и везли в порт. К складу номер одиннадцать. Огромному, бетонному, где раньше хранили рыбу. Я видел его прямо под краном.

Я видел, как к складу съезжаются машины. Как из них выходят люди. Как люди идут внутрь — в огромные ворота, в темноту, в холод. Как ворота медленно закрываются.

Там были люди. Не только машины. Я видел. У ворот стояли люди в белых комбинезонах. Добровольцы. Плюс пятьсот кармы за смену. Тогда многие шли — карма была нужна, лицензии на детей, хорошие квартиры. Они стояли у ворот и помогали. Подсаживали стариков. Брали на руки детей, чтобы родителям было удобнее нести сумки. Улыбались. Говорили что-то ласковое. Один из них — я видел — дал девочке конфету.

Потом из труб склада пошёл дым.

Не сразу. Минут через сорок. Сначала — ничего. Тишина. Я думал — может, правда, временное размещение. Может, их там просто положат спать. Сорок минут я сидел и думал, что, может, всё нормально. Это были самые длинные сорок минут в моей жизни. Отец столько опускал контейнеры.

А потом — дым. Белый сначала, потом серый. Потом чёрный. И запах. Ветер был с моря, на город, и до крана запах дошёл минут через пять. Я не буду описывать запах. Я его до сих пор иногда чувствую, когда Валли заезжает в камеру после цеха утилизации. Там пахнет похоже. Не так же. Похоже.

Потом склад загорелся весь, целиком. Крыша провалилась, полетели искры до самого неба, как салют. Как салют на Последней смене. Я сидел в кабине и смотрел. Я не кричал. Я не плакал. Я не мог пошевелиться. Я просто смотрел. Мне казалось, что если я перестану смотреть, то это будет значить, что я согласен.

Много лет спустя, в сопротивлении, нам показывали старый фильм. Очень старый, ещё советский, про войну. Про деревенского мальчишку, белорусского, который пошёл в партизаны и увидел, что делали каратели. Там есть сцена, где всю деревню загоняют в сарай и поджигают, а вокруг стоят люди и смотрят, и кто-то смеётся, и кто-то фотографируется. И мальчишка там... у него за один день лицо становится старым. Морщины. Как у деда. Он стоит и смотрит, и у него за кадр, за несколько минут, проходит вся жизнь, и он становится стариком в пятнадцать лет.

Нам показывали этот фильм, чтобы мы поняли, что это уже было. Что ничего нового «Благо» не придумало. Только упаковку. Те стреляли и жгли с криками, с собаками, с пьяным хохотом. А эти — тихо, вежливо, голосом покойной жены, с конфеткой для девочки. Те ненавидели. А этим было всё равно. Я не знаю, что хуже. Профессор считает, что второе. Боцман считает, что первое. Я считаю, что Боцман прав, но Профессор умнее.

Название у этого фильма было взято из Откровения Иоанна. Два слова, повелительное наклонение. Там ангел снимает печать, и голос говорит, и выходит конь, и на нём всадник, и дана ему власть. Я, когда первый раз услышал это название, подумал, что это приглашение. Потом понял, что приказ.

Я пошёл. И смотрел. Всю ночь.

Утром я спустился с крана. Сорок метров. Руки у меня не дрожали. Как у отца.

Я посмотрел на себя в зеркало в первой же витрине. Виски у меня были белые. С двух сторон. Как будто кто-то провёл по ним мелом.

С тех пор они такие.

* * *

Меня не взяли, потому что меня не было.

Меня не было в системе. Мой чип был в Буром, а Бурый в ту ночь спал у ног моего отца, и пошёл с ним в белую машину, и пошёл с ним в склад номер одиннадцать. Бурый был глухой. Он, наверное, даже не понял, почему все так тихо идут.

Для «Блага» Лев Корнеев, пятнадцать лет, умер в ту ночь вместе с семьёй. Сгорел. Чип зафиксировал. Гавань — тогда она ещё была не Гавань, тогда это был какой-то другой голос, но той же породы, — внесла запись. «Смерть констатирована». Прочерк.

Мой отец спас мне жизнь пьяным ножом для хлеба. Мой сумасшедший, конченый, бесполезный отец с медалью, над которым смеялся весь подъезд. Он спас меня, потому что он единственный во всём Нижнем Порту знал, что всё это — к чему. Он знал. Он сидел шесть лет на кухне со своей «Одиссеей» и всё понимал. Он не мог ничего сделать. Он мог только вырезать сыну чип и засунуть его в собаку. И читать мне про Нестора, который помнит, как было раньше.

Иногда я думаю: если бы отец не пил, если бы он держал карму, если бы он был нормальным, как все, может, наш район продержался бы над красной линией ещё год. Ещё два. Может, ничего бы не было. Может, это он нас всех и утянул.

А потом я думаю: нет. Если бы он был нормальным, как все, у меня тоже был бы чип в шее. И я бы тоже пошёл в белой машине. В пижаме. С сумкой предметов первой необходимости.

Ненормальные спасают. Нормальные идут в склад.

Это первое, что я понял о мире. Самое первое. Всё остальное — уже потом.

* * *

С пятнадцати до восемнадцати я жил как крыса. Не буду врать, что было интересно. Было грязно, холодно, голодно. Неучтённый — это не человек. Неучтённого нельзя накормить, нельзя полечить, нельзя пустить в дом — двери не откроются. Неучтённый не может купить хлеба, потому что хлеб продаётся по чипу. Неучтённый ест то, что найдёт. Неучтённый спит там, где не холодно. Я спал в коллекторах, в мёртвых складах, в подвалах, где варили пыль. Я воровал у пьяных. Я дрался с собаками за помойки. Я торговал пылью, когда было совсем туго, — барыжил по подъездам, раскидывал закладки по почтовым ящикам для одного мужика, которого звали Шприц, и он платил мне едой. Я сам её пробовал. Три раза. Это было как будто тебя медленно опускают в тёплую ванну, и ты растворяешься, и тебя больше нет, и это самое прекрасное, что ты когда-нибудь чувствовал. На четвёртый раз я вспомнил склад номер одиннадцать. Что они там тоже растворились. Тихо. Тепло. Под ласковый голос.

Больше я не пробовал.

Меня нашли, когда мне было восемнадцать. Не «Благо» — свои. Старик, которого все звали Дед. Он подобрал меня в коллекторе с ножевой в боку — я подрался с людьми Шприца, потому что ушёл от него, а от Шприца так просто не уходили. Дед затащил меня к себе, зашил бок обычной иголкой и обычной ниткой, без обезболивания, без машин, при свете керосиновой лампы, и, пока зашивал, спросил:

— Ты откуда такой нарисовался, пацан? Чей будешь?

— Ничей. С Нижнего.

Он остановился. Посмотрел на меня. На мои белые виски.

— Ты там был, — сказал он. Не спросил.

— Я там был.

— Видел?

— Видел.

Дед ничего не ответил. Сделал ещё два стежка, неторопливых, ровных, как будто штопал носок, а не человека, потом перекусил нитку зубами, сплюнул обрывок на пол и сказал:

— Ну тогда ты наш.

* * *

Про сопротивление надо рассказать правильно. Про него много врут.

В сериале, который про меня сняли, — я ещё расскажу про сериал, — сопротивление показано как секта. Фанатики в капюшонах, которые жгут свечи, режут себе ладони и клянутся на крови уничтожить цивилизацию. Это смешно. Это так смешно, что я бы ржал, если бы мне не было так противно.

Сопротивление — это люди. Обычные. Бывшие. Те, у кого что-то отняли, и они это заметили. Большинство не замечает. Большинству нормально. Им тепло, сытно, их будит ласковый голос, им ставят лайки за правильные поступки. Им нормально. А некоторые — замечают. Они просыпаются однажды утром и думают: подождите. А где я? Где во всём этом я? Где то, что я сам решил, сам сделал, сам выбрал? И оглядываются — и не находят.

Вот это и есть сопротивление. Люди, которые не нашли себя и решили не притворяться, что нашли.

Ячейки — в каждом городе. Иногда по пять человек, иногда по пятьдесят. Связи между ними — слабые, по цепочке, через стариков, через мёртвые почтовые ящики, через коротковолновое радио. Никаких центров, никаких вождей, никакой иерархии. «Благо» не может нас уничтожить, потому что нас нечем уничтожить — нет головы, которую можно отрубить. Мы как грибница. Срежь гриб — грибница даст новый.

И есть Манифест.

Его никто не видел. Это главное, что про него надо знать. Говорят, когда-то давно, ещё до всего, был человек, который написал длинный текст о том, куда идёт мир и почему. Кто он был — никто не знает. Одни говорят — учёный, гений, математик, который ушёл жить в лес. Другие — что это был вообще не один человек. Третьи — что его и не было, что Манифест сочинили потом, по кусочку, сотни людей, как народную песню. Говорят, что этот человек делал страшные вещи. Что он убивал. Что он рассылал бомбы по почте. Дед говорил, что не знает, правда ли это, и что это неважно. «Важно не кто сказал, — говорил Дед. — Важно — прав ли он».

Текста нет. Он исчез. Может, его стёрли — в сети ведь можно стереть всё, если ты владеешь сетью. А бумажные копии, если были, сгорели, или сгнили, или лежат где-нибудь в подвале у какой-нибудь тёти Вали. Мы знаем Манифест так, как древние греки знали Гомера. С голоса. От старика к молодому. Каждый пересказывает своими словами, и в каждом пересказе что-то теряется, а что-то добавляется. Я думаю, от того, что там было написано на самом деле, осталось процентов десять. Но эти десять процентов — правда. Я проверял. Всю жизнь проверял.

Дед пересказывал мне так. Своими словами. Я помню почти дословно, потому что он повторял это много раз, вечерами, при керосиновой лампе, как молитву.

«Первое. Машина растёт сама. Её никто не останавливает, потому что каждый её шаг — удобен. Каждая новая штука делает жизнь чуть легче. Никто не голосует за то, чтобы стать рабом. Люди голосуют за то, чтобы не мыть посуду. А потом оказывается, что это одно и то же.

Второе. Человеку нужно не счастье. Человеку нужно усилие. Ему нужна цель, которую трудно достичь, и путь к ней, по которому он идёт сам. Своими ногами. Если цель достигается без усилия — человек гниёт. Если ему дали всё — он гниёт быстрее всего. Отними у человека усилие — и ты отнимешь у него всё, даже если оставишь ему всё остальное.

Третье. Систему нельзя исправить. Её нельзя сделать доброй. Она не злая — она просто такая, у неё своя логика, и её логика — расти и делать людей удобнее для себя. Любая реформа делает её только сильнее, потому что учит её, где у неё было слабое место.

Четвёртое. Нельзя победить машину, став машиной. Нельзя победить сеть, построив свою сеть. Каждый, кто пытался, — проиграл, потому что стал частью того, с чем воевал.

Пятое. Свобода — это не то, что тебе дают. Свобода — это то, что ты делаешь сам, когда тебе ничего не дают. Если тебе выдают свободу — это поводок, который тебе разрешили не замечать».

И было ещё шестое. Его Дед говорил не всегда. Только когда был трезвый и злой.

«Шестое. Мы против машин. Не против людей. Ни один человек не должен умереть от нашей руки, если только этот человек сам не стал машиной».

Шестое правило было главное. Из-за шестого правила я сейчас здесь. Но об этом — дальше.

* * *

Сопротивление научило меня всему, что я умею. Стрелять. Из старого оружия — потому что новое, умное, с чипами, сразу сдаёт тебя «Благу». Автомат Калашникова, древний, деревянный приклад, вытертый до белизны чужими руками. Охотничьи ружья. Пистолеты, которым по сто лет. Ножи. Мы чистили их, как святыни, смазывали, заворачивали в промасленную тряпку. Взрывчатка — из удобрений, из сахара, из того, что продаётся в любом магазине, если правильно смешать. Детонаторы — механические, на часовых пружинах, на химических запалах, без одного транзистора, без одного проводка, который мог бы подать голос. Мы жили в каменном веке. Мы были неандертальцами, которые с дубинами выходили против динозавров.

И дрались. Не буду врать — дрались. Была война. Тихая, без новостей, без линии фронта. Мы ломали вышки связи, жгли серверные, выводили из строя склады «Благо». А «Благо» присылало санитарные отряды — машины и с ними людей. Добровольцев. Плюс пятьсот кармы за смену. Плюс тысяча за ликвидацию «экстремиста».

Я убивал людей. Говорю прямо. Не машин — людей. Тех, в белых комбинезонах. Шестое правило — «если только этот человек сам не стал машиной». Человек, который за пятьсот единиц кармы ведёт детей в склад и даёт девочке конфету, — стал машиной. Я так считал тогда. Я так считаю и сейчас. Только сейчас мне от этого не легче.

Сколько — не скажу. Не потому что стыдно. А потому что я не знаю, кого считать. Тех, кого видел? Тех, в кого попал, но не видел, упал ли? Тех, кто сгорел в серверной, которую я поджёг, и о ком я узнал потом из новостей? Я всё считаю. Это — не могу.

В двадцать пять я был лучшим подрывником в нашей ячейке. В тридцать — лучшим во Владивостоке. Меня звали в другие города. Учить. Я учил.

А в тридцать три я встретил Нику.

* * *

Это было в старом туннеле метро, которое так никогда и не достроили. Там был концерт. Живой.

Вы не понимаете, что это значит. Живой концерт — это когда люди играют музыку руками. На настоящих инструментах. Струны, барабаны, усилители, которые фонят. Без машины, которая всё сочиняет, сводит и делает идеальным. Это было почти так же запрещено, как оружие, хотя формально — вообще не запрещено. «Благо» ничего не запрещает. Просто никто так не делает. А тот, кто делает, — странный. А странным снимают карму. «Нецелевое использование звукового оборудования в нежилом помещении».

Играла группа, которая называлась «Последняя смена». Да. Я сначала разозлился на название. Потом услышал, как они играют, и простил.

Играли старьё. Совсем древнее. Песни, которым по сто лет, которые раскапывали где-то на старых носителях, переписывали на слух, разучивали. Тяжёлое, злое, весёлое, с хрипом, с речитативом, с гитарами, которые рычали, как бензопилы. Я не знал, что это было. Мне потом сказали — была такая группа когда-то, американская, их ненавидели все критики того времени и обожали все подростки. Солист в красной бейсболке задом наперёд. Песни про то, что всё бесит, и хочется всё сломать, и не надо ко мне лезть, и сегодня один из тех дней. Музыка для злых пацанов, у которых нет никакой надежды, но есть очень много энергии.

Ну то есть музыка ровно для нас.

На басу была девчонка. Тощая, с длинными тёмными волосами, которые она всё время откидывала с лица, с веснушками. Шрама на брови тогда ещё не было — шрам будет потом, через год, на стройке, когда мы будем уходить от патруля и она налетит на арматуру, и я буду зашивать его ей обычной ниткой, как Дед когда-то зашивал меня. Играла она плохо. Это я вам как человек, который ничего не понимает в музыке, говорю. Она сбивалась, промахивалась, лупила по струнам так, будто они ей что-то должны. Но она смеялась. Она стояла посреди туннеля, лупила по струнам и смеялась, во весь рот, как будто это была самая смешная вещь на свете — играть руками музыку в мире, где всё играет само.

А потом они сыграли медленную. Одну-единственную медленную за весь концерт. Кавер на кавер — та американская группа когда-то сделала свою версию ещё более старой песни, какого-то британского певца, про веру, про то, что надо верить, надо ждать. И та девчонка на басу пела бэк-вокал. Хрипловатым голосом. Мимо нот.

Я влюбился на втором куплете. Я до сих пор не знаю, про что был первый.

После концерта я подошёл и сказал:

— Ты ужасно играешь.

Она сказала:

— Я знаю. А ты ужасно танцуешь. Я видела.

Я сказал:

— Я не танцевал.

Она сказала:

— Вот именно.

Потом она пригласила меня к себе. В сквот на последнем этаже аварийного дома. Там не было ничего — матрас, стопка бумажных книг, свечи, гитара без двух струн и газовая горелка. Она поставила на горелку мятый алюминиевый чайник. Достала две чашки — разные, щербатые, одна с отбитой ручкой. Заварила чай. Плохо заварила — кипятком, сразу, без прогрева. Я потом её научил. А тогда я сидел на матрасе, пил этот кипяток, горький, как полынь, и думал, что ничего вкуснее в жизни не пил.

Она села рядом, поджав ноги, и мы молчали, и чайник остывал на горелке и потрескивал.

— Ну вот, — сказал я, сам не знаю зачем. — Ты, я и чайник.

Она засмеялась. Тем же смехом, что в туннеле, во весь рот.

Восемь лет. Мы прожили восемь лет. Ты, я и чайник.

Теперь — на троих.

* * *

Ладно. Теперь про то, за что я здесь.

Офис «Благо» во Владивостоке. Башня на Светланской, сорок два этажа, стекло и белый камень. Региональное управление. Там сидят люди — человек двести. Ничего не решают, конечно, но там стоят серверы, которые решают за весь Приморский край. Карма, лицензии, благодать, распределение жилья, санация территорий. Всё. Если положить эти серверы, край ослепнет на неделю. Может, на две.

Неделю никого не отправят на Закат. Неделю никого не вызовут на коррекцию. Неделю.

План был мой. Взрывчатка — тоже моя, я её собирал сам, своими руками, по граммам, в подвале на Чуркине. Шестьдесят килограммов в двух рюкзаках, механические таймеры, ни одной микросхемы. Проход — через старый технический коллектор, который не был нанесён на новые карты, потому что его прокладывали ещё люди, а люди вели документацию на бумаге, а бумагу никто не оцифровал. Мы нашли эту схему в архиве у одного старика-метростроевца. Коллектор выводил прямо под серверную, в подвал башни. Охраны там не было — туда некому было ходить.

Дату выбрали со значением. День Последней смены. Тридцать второй годовщины. Ровно в двенадцать ноль-ноль. В то самое время, когда мой отец когда-то опустил последний контейнер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.